

Скрижали судьбы

Автор:

[Себастьян Барри](#)

Скрижали судьбы

Себастьян Барри

Большой роман

От классика современной прозы, которого называли «несравненным хроникером жизни, утраченной безвозвратно» (Irish Independent), – «шедевр литературы, триумф стиля, не чурющийся и приемов детективного жанра» (Sunday Business Post), роман, вошедший в шорт-лист Букеровской премии и получивший престижную премию Costa Award. «Невероятно красивым и живым языком, пульсирующим, подобно песне» (The New York Times) Барри рассказывает историю Розанны Макналти, в молодости – неотразимой красавицы, которая большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна сидела там так долго, что уже никто не помнит, почему она там оказалась. И вот судьбой загадочной пациентки заинтересовался новый главврач доктор Грен. Однажды он обнаруживает спрятанный дневник Розанны: в течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах – тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической...

Признанный шедевр современной литературы – в прекрасном переводе Анастасии Завозовой («Щегол» Донны Тартт, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары).

В марте 2017 года в российский прокат выходит экранизация «Скрижалей судьбы», поставленная шестикратным номинантом на премию «Оскар» Джимом Шериданом (с его дебютного фильма «Моя левая нога» началась звездная карьера Дэниела Дэй-Льюиса). Роли исполнили Руни Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв.

Себастьян Барри

Скрижали судьбы

Sebastian Barry

THE SECRET SCRIPTURE

Copyright © Sebastian Barry, 2016

All rights reserved

© А. Завозова, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство Иностранка®

* * *

Посвящается Маргарет Синг

Наш внутренний взор есть наше величайшее несовершенство, поскольку мы видим лишь тень себя.

Сэр Томас Браун.

Христианская мораль

Сколь немногим историкам или читателям исторических трудов удастся извлечь хотя бы малую пользу из своих усилий!.. Помимо того, самые достоверные свидетельства древней и современной истории подчас таят в себе так много недосказанного, что любовь к истине, которая во многих умах незыблемо укреплена от природы, неизбежно приводит к любви к тайным мемуарам и семейным преданиям.

Мария Эджворт,

из предисловия к роману «Замок Ракрэнт»

Часть первая

Глава первая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

(пациентка областной психиатрической лечебницы Роскоммона, с 1957 г. по настоящее время)

Мой отец говорил, что мир начинается заново с каждым рождением. Но забывал добавить, что с каждой смертью – заканчивается. Или не считал нужным договаривать. Потому что добрую часть жизни проработал на кладбище.

* * *

Родилась я в холодном маленьком городе. Даже горы от него отодвигались. Доверия у гор к этому темному местечку было не более моего.

Через весь город текла черная река, не проявляя к людям никакой милости и снисходя только до лебедей, – и лебедей там плавало много, а во время разлива они вертелись вместе с потоком, будто нырки какие.

Еще река несла в море всякий мусор, и некогда чьи-то вещи, ухваченные с берегов, и трупы тоже, хоть и редко – да и, случалось, бедных младенцев, чужой позор. Глубина реки и ее течение умели принять любую тайну.

Это я про город Слайго.

Слайго меня создал, Слайго меня и разрушил, но мне следовало бы гораздо раньше бросить все эти мысли про то, как меня создавали и разрушали человеческие города, и искать ответов только в себе самой. Весь страх и боль в моей жизни приключились потому, что в молодости я думала, будто другие люди – творцы моего счастья или несчастья. Я не знала тогда, что человек может выстроить целую стену из воображаемых кирпичей против всех тех ужасов и жестоких мрачных испытаний, которые обрушивает на нас время, – и стать, таким образом, творцом самому себе.

Теперь меня там нет, теперь я в Роскоммоне. Дом этот старый, раньше был чей-то особняк, но стены выбелены, везде железные кровати и засовы на дверях. Всё тут – владения доктора Грена. Доктора Грена я не понимаю, но я не боюсь его. Не знаю, какого он вероисповедания, но выглядит он точь-в-точь как святой Фома – с этой своей бородой и лысой макушкой.

Я совсем одна, за этими стенами никто меня и не знает, вся моя родня – пара жалких медяков, что у меня когда-то были, да моя птичка-мать, – все они уже умерли. Умерли, наверное, уже и все мои преследователи, потому что я теперь старая, очень старая женщина, мне, может быть, уже сотня лет, хотя я и не знаю точно, да и никто не знает.

Я всего лишь жалкий остаток, огрызок женщины, я даже и на человека-то не похожа больше: так, кости, кое-как обтянутые ветхой кожей, одетые в выцветшую юбку и кофту да в полотняную куртку, сижу тут в своем гнезде, как онемевшая малиновка – нет, скорее, как мышь, что сдохла за камином, в тепле, и

лежит там теперь, как мумия в пирамиде.

Никто и не знает, что у меня есть своя история. Через год, через неделю или даже завтра я уж точно умру, и мне закажут маленький гроб да выроют узкую ямку. Камня в изголовье и того не поставят, да и не важно.

Так и все люди, наверное, маленькие и узкие.

Тишина кругом. Почерк у меня еще твердый, и еще есть замечательная ручка, полная синих чернил, которую мне дал мой друг-доктор, потому что я сказала, что мне цвет нравится, – он в самом деле неплохой человек, доктор, быть может, даже философ, – и тут у меня пачка бумаги, которая отыскалась в шкафу среди прочих ненужных вещей, а вот расшатанная половица, где я прячу все эти сокровища. Я записываю свою жизнь на ненужной бумаге, которой у меня с избытком.

Я начинаю с чистого листа – со множества чистых листов. Теперь мне так страстно хочется оставить что-то вроде отчета, отверстой и откровенной истории самой себя, и, если Господь даст мне сил, я расскажу всю эту историю и запру ее под половицами, чтобы затем почти с радостью улечься вместе с остальными моими покойниками под роскошным дерном.

* * *

Мой отец был самым чистым человеком во всем христианском мире, во всем Слайго уж точно. Мне все казалось, что он так туго затянут в свою форму: никакой расхлябанности, весь ровный, как записи в конторской книге. Он был смотрителем на кладбище, и для работы ему полагалась невероятной красоты форма, или уж такой она мне виделась в детстве.

Во дворе у нас стояла бочка, в которую собиралась дождевая вода, и там он мылся – каждый божий день. Велит нам с матерью отвернуться к стене, встанет посреди заросшего мхом и лишайниками двора, не боясь, что его кто-то увидит, разденется догола и давай безжалостно поливать себя из бочки в любую погоду, даже в самую зиму, и только всхрапывает, как бык.

Карболовое мыло, которым отмывали засаленный пол, он взбалтывал в целый костюм из пены, который сидел на нем как влитой, пока он тер себя куском серого камня: его он, помывшись, засовывал в специальную дыру в стене, откуда тот торчал, будто чей-то нос. Все это я видела вспышками, урывками, пока быстро вертела головой, потому что тут я становилась плохой дочерью и не могла слушаться.

Никакие цирковые трюки не могли развлечь меня больше этого.

Мой отец был певцом, которого не заставишь умолкнуть, он пел все песенки из тогдашних опереток. И еще он любил читать проповеди давно умерших священников, потому что, как он говорил, может представить то давно прошедшее воскресенье, когда эта проповедь была еще новехонькой, а слова только вылетели у проповедника изо рта.

Его отец был проповедником. Мой отец был страстным, я бы даже сказала, духовнейшим пресвитерианцем – не самая популярная черта характера в Слайго.

Превыше всего он ценил проповеди Джона Донна, однако истинным его евангелием была Religio Medici сэра Томаса Брауна[1 - Томас Браун (1605–1682) – английский мыслитель и ученый. «Религия врача» (1635) – один из самых его известных трактатов, в котором Браун рассуждает о возможности сближения религии и науки.], книга, которая осталась со мной после всей кутерьмы и неразберихи в моей жизни, маленький истрепанный томик. Вот она лежит передо мной на кровати, внутри написаны его имя – Джо Клир, дата – 1888 год, город – Саутгемптон, потому что в ранней юности он был моряком и еще до того, как ему исполнилось семнадцать, успел побывать в каждом порту христианского мира.

В Саутгемптоне произошло одно из самых великих или грандиозных событий в его жизни – он повстречал мою мать Сисси, которая работала горничной в постоялом доме для моряков, где он любил останавливаться.

Отец любил рассказывать одну занятную историю про Саутгемптон, и ребенком я воспринимала ее как святую истину. Впрочем, может, то была и чистая правда.

Как-то зайдя в порт, он обнаружил, что в его привычном постоялом доме мест нет, и поэтому был вынужден идти дальше, по продуваемым насквозь широким улицам, пока не наткнулся на одиноко стоящий дом, где клиентов подлавливала табличка, извещавшая о сдающихся комнатах.

В доме его встретила серолицая женщина средних лет, которая отвела ему койку в подвале. Посреди ночи он проснулся – показалось, что в комнате кто-то дышит. До смерти перепугавшись, он с отчетливой ясностью, которая идет рука об руку с паникой, услышал стон – и в темноте кто-то улегся с ним рядом.

Он зажег свечу из трутницы. Никого. Но отец увидел, что простыни и матрас примяты, будто там лежит грузный человек. Он вскочил с койки, крикнул: эй, но никто не ответил. И тут он почувствовал, как все его нутро свело таким жутким голодом, какого ни один ирландец не испытывал со времен картофельного мора[2 - Период с 1845 по 1852 год, когда большой неурожаем картофеля наложился на сложную экономико-политическую ситуацию в стране и вызвал массовый голод.].

Он бросился к двери, но с изумлением обнаружил, что она заперта. Вот теперь он был вне себя от бешенства.

– Выпусти меня! Выпусти! – кричал он, пока в нем бушевали и страх, и ярость. Да как посмела эта старая карга запереть его тут!

Он колошматил и колошматил в дверь, наконец хозяйка спустилась и спокойно отомкнула его. Она извинилась, сказав, что, видимо, невольно повернула ключ в замке, чтобы обезопасить себя от воров. Отец пожаловался на то, что в комнате кто-то был, но женщина лишь улыбнулась, ничего не ответила и ушла к себе.

Ему показалось, что он уловил странный запах, исходивший от нее, – запах листвы, подпола и подлеска, как будто бы она продиралась сквозь лесную чащу. Все утихло, он задул свечу и попытался заснуть.

Однако какое-то время спустя все повторилось. Он вновь вскочил, зажег свечу и подошел к двери. Снова заперто! И снова внутри заворочался ужасный голод. Отчего-то он не осмелился вновь позвать хозяйку – вероятно, из-за чрезвычайной ее странности – и провел остаток ночи на стуле, взмокший от пота, скрюченный.

Наутро он проснулся, оделся – дверь была открыта. Отец взял свои сумки и пошел наверх. Только теперь он заметил, что дом в ужасном запустении, – ночью это милосердно скрыла темнота. Он не мог дозваться хозяйки и, поскольку его корабль должен был вот-вот отплыть, ушел, так и не повидав ее, бросив пару шиллингов на полочку под зеркалом.

Выйдя на улицу, отец оглянулся и с неприятным чувством заметил, что многие оконные рамы в доме сломаны, а на просевшей крыше недостает черепиц. Тогда он зашел в лавку на углу, чтобы успокоиться и поговорить хоть с какой-то живой душой, и принялся расспрашивать лавочника про дом.

Этот дом, сказал лавочник, вот уже несколько лет как заброшен и никто там не живет. Его бы снести давно, да он стеной примыкает к другому дому. Нет-нет, не мог он там ночевать. Там нет никого, да и кто захочет купить дом, где жена мужа убила – заперла в подвале и уморила голодом. Женщину эту судили и повесили за убийство.

Отец рассказывал матери эту историю с таким воодушевлением, будто переживал все заново. Мрачный дом, серая женщина, стенающий призрак проплывали у него перед глазами.

– Ну, Джо, хорошо, что в твой следующий приезд у нас нашлась свободная комната, – всегда очень ровно произносила моя мать.

– Святая правда, святая правда, – отвечал отец.

Эта крошечная человеческая история, моряцкая история каким-то образом вмещала в себя и яркую красоту моей матери, и всю мощь ее чар, перед которыми мой отец никогда не мог устоять.

Потому что она была красива смуглой, темноволосой испанской красотой, и глаза у нее были зелеными, как колумбийские изумруды, а перед такими падет любой мужчина.

Он женился на ней и привез ее с собой в Слайго, где она и жила с тех пор, не будучи родом из этой тьмы, похожая на потерянный шиллинг, что валяется в грязи и отчаянно поблескивает. Никогда еще Слайго не видал большей красавицы: кожа у нее была мягче пера, а грудь теплая и щедрая – восторг и

взошедшее тесто.

В детстве самой великой моей радостью было идти с матерью в сумерках по улицам Слайго, потому что она любила выходить навстречу отцу, когда он возвращался с кладбища. И только много лет спустя, когда я сама выросла, вспоминая все это, я поняла, что в этом ее встречном движении таился какой-то трепет, как будто бы она не верила, что обычный ход времени и жизни сам приведет его домой. Потому что, думаю, мать странно тяготилась сиянием своей красоты.

Отец был на кладбище смотрителем, как я вам уже говорила, и носил синюю форму и фуражку с козырьком, черным, как перья у дятла.

В те времена шла Первая мировая, и город был полон солдат, как будто бы весь Слайго был полем боя, но, конечно, ничего там не происходило. Мы в основном видели солдат, приходивших в увольнительные. Но все они в этих своих формах походили на моего отца – казалось, что он на улицах повсюду, и, пока мы с матерью шли ему навстречу, я выглядывала его так же истово, как и она.

Но радость только тогда заполняла меня целиком, когда оказывалось, что он – это он, как и должно, возвращается домой с кладбища темным зимним вечером, несетя вперед легким шагом. И стоило ему заметить меня, как он затевал со мной какую-нибудь игру, будто расшалившийся ребенок. И уж многие на него косились, быть может, потому, что такое поведение не очень уж вязалось с должностью смотрителя за покойниками Слайго. Но у него была редкая способность всецело отдаваться игре с ребенком и в сумеречном свете быть глупым и веселым.

Он был смотрителем могил, но еще он был самим собой и, в своей фуражке с козырьком и синей форме, мог с надлежащим достоинством проводить любого посетителя к месту, где покоился его друг или родственник, но, оставшись один в своей сторожке, маленькой бетонной часовенке, он прелестно распевал арию «Мне снилось, живу я в гранитном дворце» из «Цыганки», одной из его любимых опер[3 - «Цыганка» (1843) – опера композитора Майкла Уильяма Бальфе.].

В выходные же он гонял по извилистым ирландским дорогам на своем мотоцикле «матчлесс». И если завоевание моей матери стало для него событием поистине королевским, то одни лишь воспоминания о том, что в тот же великий

удачный год, незадолго до моего рождения, он на своем чудесном мотоцикле участвовал в короткой гонке на острове Мэн, благополучно добрался до середины поля и не убится, были для него источником бесконечной радости и, я думаю, немало утешали его в бетонной часовенке посреди тягучей и безрадостной ирландской зимы, когда кругом были одни только спящие души.

Другая «известная» история – известная, разумеется, лишь нашему крохотному семейству – приключилась с отцом в его холостой жизни, когда он еще мог выбираться на редкие в те времена мотоциклетные гонки. История эта была странная до чрезвычайности, и случилась она в Талламоре.

Он несся на большой скорости, впереди был пологий склон, который оканчивался резким поворотом у разделительной стены – высокого плотного каменного забора, построенного во время Великого голода, когда рабочим, казалось, придумывали бесполезные занятия, чтобы они не поумирали с голоду. Но как бы то ни было, а ехавший впереди него гонщик, летя вниз с холма на невероятной скорости, вместо того чтобы дать по тормозам, будто бы даже прибавил газу перед стеной и в конце концов, как ядро из пушки, – с грохотом, скрежетом и дымом – безжалостно в нее впечатался. Отец, пытаясь разглядеть хоть что-то через перепачканные очки, чуть было сам не выпустил руль – настолько перепугался, – но затем увидел то, что никогда не мог и не смог бы объяснить: гонщик воспарил, будто бы на крыльях, и одним быстрым, но плавным движением перелетел через стену, скользнув по воздуху, словно чайка, которую несет попутным ветром. На мгновение отцу и впрямь почудился шелест крыльев, и, всякий раз после этого встречая в молитвеннике упоминания об ангелах, он вспоминал об этом удивительном мгновении.

Прошу вас, не думайте, будто мой отец привирал, потому что на это он был не способен. Верно, что во многих деревнях – и даже городах – люди вам расскажут, что видели уж такие чудеса, да взять хотя бы моего мужа Тома с его историей про двухголовую собаку, что повстречалась ему на пути в Инишкрон. Верно и то, что истории эти производят впечатление, только если рассказчик прикидывается, будто сам в них истово верит, – или впрямь видел что-то подобное. Но отец мой никогда не был мастером рассказывать сказки.

Когда отцу удалось замедлить ход и затормозить, он побежал вдоль забора, пока не наткнулся на калитку, и, толкнув ржавые ворота, принялся продираться сквозь заросли крапивы и конского щавеля в поисках своего волшебного спутника. Там тот и лежал, с другой стороны забора, совсем без

сознания, но, как клялся мой отец, целый и невредимый. Наконец мужчина – оказалось, что это индийский джентльмен, торговавший шарфами и прочими штуками, которыми был доверху набит его чемодан, по всему западному побережью, – пришел в себя и улыбнулся отцу. Оба они подивились его невероятному спасению, и история эта, что вполне понятно, ходила по всему Талламору еще много лет. Если и вы ее когда-нибудь слышали, то рассказчик, верно, мог назвать ее историей про «индийского ангела».

И вновь становилось заметно, как до странного счастлив был мой отец, пересказывая все это. Казалось, подобные события были ему наградой за саму его жизнь, небольшой дар повествования, который приносил ему столько радости, что наделял его – и во сне, и наяву – некоторым ощущением своей особенности, будто бы эти маленькие клочки историй и событий складывались для него в своего рода лоскутное евангелие. И если бы и впрямь о жизни моего отца вдруг написали евангелие – а почему бы, впрочем, и нет, ведь говорят же, что каждая жизнь ценна Господу, – то, думаю, в этом новом исполнении с чужого голоса крылья, которые он лишь мимолетом углядел на спине своего индийского друга, стали бы куда заметнее, а все намеки превратились бы в утверждения – недоказуемые, но вознесенные до уровня чуда, чтобы всякий мог найти в них утешение.

Счастье моего отца. Уже само по себе оно было бесценным даром, как вечная тревога матери – ее вечным бременем. Потому что моя мать никогда не слагала легенд из своей жизни и жила, что примечательно, без единой истории, хотя я уверена, что заговори она – и ее рассказы были бы не хуже отцовских.

Странно, вот что мне пришло в голову: человек, который не пестует свои рассказы, пока живет, чтобы они потом пережили его, скорее всего, будет потерян не только для всей истории, но и для семьи, которой он мог бы их передать. Разумеется, такова участь большинства, когда целые жизни – пусть даже самые яркие и примечательные – съеживаются до угрюмых почерневших надписей на засохшем фамильном древе: рядом болтаются половинка даты да вопросительный знак.

Счастье моего отца не только спасало его, но вновь и вновь приводило его к этим рассказам, и даже сейчас благодаря этому он живет во мне, словно внутри моей несчастной души есть вторая – более терпеливая, более радостная.

Быть может, счастье моего отца было до странного беспричинным. Но разве не может человек быть счастливым, как ему угодно, пока бредет по этой долгой и непонятной жизни? В конце концов, мир ведь и вправду прекрасен, и появившись мы в нем не людьми, а другими тварями, то могли бы быть бесконечно счастливы.

И без того тесную гостиную в нашем маленьком домике мы делили с двумя большими предметами – одним из них был уже упомянутый мотоцикл, который нужно было укрывать от дождя. Можно сказать, он вел тут тихую и размеренную жизнь, и отец мог время от времени лениво пробегать по его хромому бархоткой, не вставая с кресла.

Вторым было узенькое пианино, которое досталось отцу в благодарность от одного вдовца, – отец не взял с него денег за рытье могилы для жены, поскольку та семья еле сводила концы с концами. И потому летним вечером, вскоре после похорон, ослик и тележка привезли к нам пианино, и вдовец с двумя сыновьями – с улыбками, в счастливом смущении – внесли его в крохотную комнатку. Вряд ли это пианино стоило больших денег, но звучало оно изумительно чисто, и, судя по девственной белизне клавиш, до того на нем никогда не играли.

Его боковые панели были разрисованы пейзажами – не Слайго, конечно, а скорее видами некоторой воображаемой Италии, но с тем же успехом это мог быть и Слайго: реки, горы да пастухи с пастушками подле своих покорных овец.

Отец, выросший при церкви, мог играть на этом чудесном инструменте и, как я уже говорила, был без ума от популярных оперетт прошлого века. Бальфе[4 - Майкл Уильям Бальфе (1808–1870) – ирландский композитор, сочинитель популярных опер и оперетт.] он почитал гением.

На табурете нам двоим как раз хватало места, и вскоре я – в силу своей любви к отцу и великого восторга перед его умением – начала подхватывать основы игры и постепенно и впрямь неплохо выучилась, и учеба эта никогда не обременяла меня, не была мне в тягость.

И вот я уже могла подыгрывать отцу, а он становился посреди комнаты, небрежно опершись одной рукой на сиденье мотоцикла, а вторую засунув за борт пиджака – ну точь-в-точь ирландский Наполеон, – и принимался исполнять практически безупречно, ну или как мне тогда казалось, «Гранитный дворец»

или другие жемчужины своего репертуара и, кстати, раз уж на то пошло, то и песенки, что зовут неаполитанскими, которые, конечно, были названы так не в честь Наполеона, как думала я, а потому, что они родились на улицах Неаполя, – песенки, сосланные в ссылку в Слайго!

Голос его проливался в меня, как мед, и кружился в моей голове, вибрируя, заполняя ее целиком, прогоняя все детские страхи. Его голос взлетал вверх, и весь он будто бы поднимался вместе с ним – руки, бакенбарды, нога, которой он покачивал над ковром с нарисованными на нем собаками, и взгляд его переполнялся странным весельем. Сам Наполеон, думаю, признал бы, что он – человек возвышенный. В такие минуты, во время исполнения более тихих пассажей, тембр его голоса звучал настолько прекрасно, что ничего лучше я не слышала и по сей день.

В дни моей молодости в Слайго перебивало много хороших певцов: они выступали на открытых сценах под дождем, а кое-каким исполнителям более популярных мелодий я даже подыгрывала на пианино, вытесывая ноты и аккорды, что для них, наверное, было скорее помехой, чем подспорьем. Но по мне, так никто из них не мог передать ту странную интимность, которая звучала в голосе моего отца.

А человек, умеющий веселиться перед лицом надвигающихся невзгод, невзгод, которые выпадают многим из нас – без снисхождений и поблажек, – и есть истинный герой.

Глава вторая

Записи доктора Грена

(старший психиатр областной психиатрической лечебницы Роскоммона)

Здание в ужасном состоянии, хотя насколько все ужасно, мы узнали только после того, как получили отчет инспектора. Трое храбрецов, вскарабкавшихся на древнюю крышу, сообщают, что опорные балки вот-вот рухнут, как будто бы

сама макушка нашего заведения стала походить на головы несчастных заключенных, что живут под ней. Хотя заключенных мне следует называть «пациентами». Но раз уж это здание было построено в конце XVIII века в качестве благотворительного заведения «для целительного приюта и надлежащего исправления скорбных вместилищ мыслей», то слово «заключенный» как-то само приходит на ум. Теперь, правда, остается только догадываться, насколько тут все было целительным и насколько надлежащим. Вообще-то, в середине XIX века в истории таких приютов произошел большой прорыв благодаря революционным идеям некоторых докторов: смирительные рубашки применяли с умом, а хорошее питание, физические нагрузки и упражнения для умственного развития полагали залогом успеха. Что, собственно, стало рывком вперед по сравнению с порядками, царившими в Бедламе, где воющих и рычащих существ приковывали цепями к полу. Потом, правда, все снова пришло в упадок, и ни одна чувствительная душа не возьмется описать все, что творилось в ирландских лечебницах в первую половину прошлого века, – клиторидектомия, погружение в ледяную воду, инъекции. Прошлый век был «моим» веком, поскольку на исходе его мне исполнилось пятьдесят пять, а в этом возрасте трудно всем сердцем и помыслами обратиться к веку новому. Или мне так казалось. До сих пор кажется. Увы, теперь мне почти шестьдесят пять.

Раз уж здание так отчетливо принялось стареть, придется нам его покинуть. В местном отделе здравоохранения говорят, что новое здание откроется тотчас же, – может, это и правда, а может, просто пустая болтовня.

Но что делать до тех пор, пока мы точно не будем уверены, что нам дадут новое здание, и как, если уж задаваться более философскими вопросами, мы сможем выдернуть отсюда пациентов, чья ДНК, вероятно, давно въелась в стены этого помещения? Эти вот пятьдесят доисторических женщин в центральном корпусе – они такие старые, что сам их возраст стал чем-то вечным, непрерывным, – так давно не встают с постелей, так обросли пролежнями, что куда-то их перевозить – уже само по себе насилие.

Наверное, я никак не могу смириться с мыслью, что придется переезжать, – вполне разумно, если учесть, что вопрос пока на стадии обсуждения. Как-нибудь справимся, конечно, и с неразберихой, и с потрясениями.

Сестры и санитары, впрочем, тут тоже давно стали частью здания, как летучие мыши на чердаке и крысы в подвалах. Этим-то имя, как я понимаю, легион, хотя,

слава богу, крыс я видел только один раз, когда горело восточное крыло, – по нижним этажам носились маленькие темные тени, которые выскакивали и неслись за изгородь, на кукурузные поля. Когда они убегали, свет пожара окрашивал их шкурки в причудливый рыжеватый оттенок. Уверен, они слышали, как пожарные дали отбой, и потом – под покровом новой тьмы – прошмыгнули обратно.

Итак, переехать когда-нибудь все-таки придется. По новому законодательству я обязан определить, кого из пациентов можно вернуть в общество (что бы это, черт подери, ни значило) и к каким категориям отнести всех прочих пациентов. Многих из них, конечно, поразит даже новая обстановка: свежая штукатурка, хорошая звукоизоляция и центральное отопление. Уверен, им будет не хватать даже стенаний ветра, слышных и в безветренные дни (кстати, как это возможно? – наверное, из-за вакуума, который возникает на границах холодных и прогретых частей здания), – как легчайшего аккомпанемента их снов и «припадков». Несчастные стариканы в черных костюмах, которые больничный портной скроил давным-давно, они не столько сумасшедшие, сколько дряхлые и бездомные, живут себе в западном крыле – самой старой части здания, – будто ветераны позабытых войн, которые не будут знать, куда приткнуться, покинув эту роскошную глушь.

Однако все это вынуждает меня взяться за дело, которое я чересчур долго откладывал: установить обстоятельства, что привели к нам некоторых пациентов, и понять, не очутились ли они здесь – а такие трагические случаи, увы, известны – по социальным, а не по медицинским показаниям. Уже не такой я дурак, чтобы думать, что все местные «безумцы» и впрямь безумны, или страдали безумием, или обезумели до того, как попали сюда и подхватили сумасшествие как своего рода заразу. Всезнающая общественность – или, скорее, общественное мнение, отраженное в газетах, – не особенно вдаваясь в подробности, полагает, что такие люди заслужили «свободу» и «жизнь на воле». Быть может, оно и верно, только создания, которые так долго сидели взаперти, могут счесть свободу и вольную жизнь довольно затруднительными приобретениями, как все эти страны Восточной Европы после падения социалистической системы. Да и я тоже ощущаю в себе странное нежелание отпускать кого-либо из них. Что это? Странствия сторожа в зоопарке? Освоятся ли мои полярные мишки на Северном полюсе? Такие мысли мне, конечно, чести не делают. Ну, поживем – увидим.

В частности, мне придется заняться моим старым другом миссис Макналти, которая старше всех не только в клинике, но и во всем Роскоммоне, а может стать, что и во всей Ирландии. Она уже была старой тридцать лет назад, когда я приехал сюда, хотя в то время энергии в ней было – ну, не знаю – как в природной стихии. Личность она примечательная, и, несмотря на то что зачастую я вижу с ней лишь мимоходом, а то подолгу и вовсе к ней не заглядываю, я всегда помню о ней и стараюсь о ней справляться. Признаюсь, для меня она своеобразная точка опоры. Она здесь с незапамятных времен и для меня олицетворяет не только наше заведение, но и каким-то удивительным образом мою историю, всю мою жизнь. Как там у Шекспира: «Звезда, которую моряк определяет место в океане»[5 - Шекспир У. Сонет 116 (пер. С. Маршака)]. Которой я определял наши с бедняжкой Бет семейные сложности, мои периоды уныния и внезапной меланхолии, мои мысли о том, что ничего у меня не выходит, – мое то, мое се – и, наверное, мою приветливую глупость. Пока все вокруг меня неотвратно менялось, она оставалась прежней, разве что становясь с годами более тонкой и хрупкой. Ей ведь уже сто? Раньше она играла на пианино в комнате отдыха – и довольно сложные вещицы, джазовые мелодии двадцатых и тридцатых. Не знаю, где она этому научилась. Помню, она сидит там – волосы распущены, длинные серебристые пряди струятся по спине, на ней кошмарная больничная роба – и выглядит при этом королевой и поразительно прекрасной, хотя ей было тогда уже семьдесят. Она и сейчас довольно красива, а уж представить, как она, наверное, выглядела в молодости! Незаурядно, как воплощение всего необычного и даже чужеродного в этом провинциальном мирке. Когда позже у нее развился легкий ревматизм – она этого слова не допускала, ссылаясь на то, что пальцы стали «негибкие», – играть она перестала. И с ревматизмом она могла бы играть неплохо, но «неплохо» ее не устраивало. Поэтому мы больше не слышали, как миссис Макналти играет джаз.

Для порядка стоит записать, что потом пианино, побежденное древооточцами, вывезли на свалку, и в кузов грузовика оно приземлилось с оглушительным немзыкальным звоном.

Теперь придется пойти и порасспрашивать ее о том о сем. Из-за этого я необъяснимо нервничаю. С чего бы мне нервничать? Наверное, все потому, что она настолько старше меня, и, когда она надолго умолкает, я чувствую себя рядом с ней чрезвычайно покойно – как в обществе пожилого коллеги, перед которым преклоняешься. Да, наверное, в этом-то и дело. Или – как я подозреваю – в том, что я нравлюсь ей так же, как и она мне. Хотя я и не знаю почему. Я испытываю к ней любопытство, но никогда толком не влезал в ее жизнь, что, наверное, характеризует профессионального психиатра с не самой

лучшей стороны. Впрочем, вот так и есть – я ей нравлюсь. И эту ее приязнь – в смысле само ее состояние – я не хотел бы поколебать ни за что на свете. Поэтому нужно действовать осторожно.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Как бы мне хотелось сказать, что я любила отца так сильно, что не могла жить без него, но потом подобные уверения окажутся неправдой. Те, кого мы любим, неразделимые с нами люди, уходят от нас по воле Всевышнего или стараниями дьявола. Смерти эти – будто увесистый кусок свинца на душе, и там, где прежде душа была невесомой, в самой нашей сердцевине, сокрыто теперь тайное и гибельное бремя.

* * *

Когда мне было лет десять, отец в приступе образовательного рвения привел меня на верх длинной и узкой кладбищенской башни. Башня эта была одной из прекрасных, стройных и высоких построек, возведенных монахами в страшные и губительные времена. Она стояла в заросшем крапивой уголке кладбища, и никто ее особо не замечал. Всякий, кто рос в Слайго, просто знал: она там есть. Но вне всякого сомнения, то была драгоценность, выстроенная лишь с тонким налетом цемента меж камней, – каждый камень впитал в себя изгиб башни, каждый камень был уложен на свое место древними каменщиками с идеальной точностью. Кладбище, конечно, было католическое. Но мой отец получил эту работу не из-за своей религии, а потому, что в городе все его очень любили и католики были не против, чтобы могилы им копал пресвитерианец, если это пристойный пресвитерианец. Потому что тогда отношения между церквями были гораздо спокойнее, чем нам представляется сейчас, и многие подчас забывают про те, уже давно канувшие в Лету времена, когда из-за введенных карательных законов католики тоже подвергались гонениям, – про это отец очень любил напоминать. Но в любом случае там, где есть дружба, религия не помеха. И только гораздо позже это его отличие вдруг сыграло свою роль. А до того я знала, что к нему с чрезвычайной приязнью относится приходской священник, бойкий энергичный человек по имени отец Гонт, который позже занял очень много места в моей собственной истории, если, конечно, так можно сказать про такого маленького человечка.

То было время, когда первая война только-только закончилась, и, быть может, в тогдашних окопах истории сознание людей то и дело устремлялось ко всякого рода странностям, педагогическим причудам – вроде той, которую в тот день затеял отец. Потому что иначе я не знаю, зачем бы еще взрослый мужчина повел своего ребенка на верхушку старой башни, прихватив с собой сумку, полную молотков и перьев.

Весь Слайго – с рекой, домами, церквями – распростерся у подножия башни, ну или так оно казалось из маленького окошка на верхушке. Пролетающая птица, наверное, могла видеть, как оттуда пытаются одновременно высунуться два оживленных лица: я вся тянусь на цыпочках, моя макушка задевает подбородок отца.

– Розанна, милая, я уже брился утром, тебе не удастся побрить меня еще раз своей золотой головкой.

И правда, у меня были мягкие волосы – прямо как золото, золото тех древних монахов. Желтые всполохи цвета, как в старых книжках.

– Папочка, – сказала я, – ну, пожалуйста-распожалуйста, брось скорее молотки и перья вниз, и посмотрим, что будет.

– Ух, – ответил он, – что-то я притомился, пока карабкался сюда, давай-ка взглянем разок на Слайго, прежде чем перейдем к нашему эксперименту.

Он специально подждал безветренной погоды. Хотел наглядно доказать мне старинную теорию: все вещи падают вниз с одинаковой скоростью.

– Теоретически, – сказал он, – все вещи падают вниз с одинаковой скоростью. И я тебе это докажу. И себе тоже.

Мы сидели у шипящих углей нашего камелька.

– Все, может быть, и падает, как ты говоришь, с одной скоростью, – вклинилась мать из своего угла. – Да вот только мало что подымается.

Не думаю, что это была шпилька в его адрес, так – обычное замечание. В любом случае отец взглянул на нее с тем превосходным спокойствием, которым она владела в совершенстве и которому он научился от нее.

Как странно – сидеть в сумеречной комнате и писать все это, царапать слова синей шариковой ручкой и в то же время где-то там, за глазами, в сумерках моей головы, видеть, как они говорят и живут, будто это они – настоящие, а я – всего лишь иллюзия. И в тысячный раз сердце мое вздрагивает при воспоминании о том, какая она красивая, какая ладная, милая и сияющая и какой у нее саутгемптонский выговор: как галька на пляже, которую с шорохом ворошат волны, мягкий звук, что звучит в моих снах. Правда и то, что когда я дерзила, когда ей казалось, что мой путь отклоняется от замысленного ею – даже в мелочах, то меня ждала порка. Но в те времена детям всегда за что-нибудь попадало.

И вот наши с отцом головы елозят туда-сюда, лица втиснуты в старинную раму монашеского смотрового окошка. И какие только давние лица не выглядывали отсюда – вот монахи потеют в своих рясах, пытаются разглядеть, нет ли на горизонте викингов, которые придут и убьют их всех и заберут их книги, их бочонки с вином, их деньги. Никакой каменщик не оставит для викингов слишком большого оконного проема, и это окошко по-прежнему отдавало застарелой тревогой и опасностью.

Наконец стало ясно, что, если мы оба останемся наверху, провести эксперимент не удастся. Кто-то из нас обязательно все пропустит. Поэтому отец велел мне спускаться, по замшелым каменным ступеням, и я до сих пор помню, какой влажной была стена под моими пальцами и как рос во мне необъяснимый страх разлучиться с отцом. Мое маленькое сердечко колотилось так, будто в груди метался застрявший голубь.

Я вышла из башни и отошла от нее подальше, как он велел, боясь того, что меня насмерть зашибет упавшим молотком. Отсюда башня казалась громадной, вытянувшейся до самых облаков, которые в тот день были нечистого, серого цвета. До самых небес. Было тихо, ни ветерка. Заброшенные могилы в этой части кладбища, могилы мужчин и женщин из того века, когда люди могли позволить себе лишь грубый безымянный камень в головах, теперь, когда я оказалась тут в полном одиночестве, казались мне совсем другими, будто бы эти жалкие скелеты вот-вот восстанут из-под земли и набросятся на меня, снедаемые вечным голодом. Я стояла там – ребенок на краю обрыва, такое у меня было

чувство, как в той старой пьесе про короля Лира, когда друг короля воображает, будто падает с крутого утеса, а никакого утеса там на самом деле нет, но, когда читаешь про это, тоже кажется, что там утес и ты летишь вниз вместе с другом короля. Но я все высматривала отца – любя и веруя, любя и веруя. Нет ничего дурного в том, чтобы любить своего отца, в том, чтобы принимать его безоговорочно, и так было, даже когда я уже начала взрослеть, а в эту пору дети особенно часто разочаровываются в родителях. Нет ничего дурного в том, что все мое сердце тогда рвалось к нему – к тому, что я могла разглядеть: к его руке, которая торчала из окна, и сумке, что болталась в ирландском воздухе. Теперь он что-то кричал мне, и я едва могла разобрать, что он говорит. Но на второй или третий раз я, кажется, расслышала:

– Ты отошла подальше, доченька?

– Отошла, папочка! – отозвалась я, почти крича, ведь моим словам надо было проделать такое огромное расстояние и пролезть в такое маленькое окошко, чтобы добраться до него.

– Тогда я открываю сумку! – крикнул он. – Смотри!

– Я смотрю, папочка!

Одной рукой он неловко раскрыл сумку и вытряс ее содержимое наружу. Я видела, как он клал все туда. Там была пригоршня перьев, которую он выдрал из прикроватного валика, невзирая на причитания жены, и два остроконечных молотка для починки оград и надгробий.

Я смотрела и смотрела. Кажется, я слышала странную музыку. Щебет галок и скрипучий клекот грачей, угнездившихся в огромных буках, складывались у меня в голове в какую-то мелодию. Шея у меня ныла, но я вся разрывалась от нетерпения скорее увидеть, чем закончится этот элегантный опыт, который, как сказал отец, может стать для меня чем-то вроде основы мировоззрения.

Хотя не было ни малейшего ветерка, перья мгновенно разметало, будто взрывом, и тотчас же унесло вдаль – серые пятнышки против серых облаков, практически неразличимые. Перья летели, летели вдаль. Отец все кричал и кричал мне с башни в страшном возбуждении:

– Ну, что видишь, что видишь?

Что я тогда видела, что знала? Иногда мне кажется, что когда в ком-то вдруг прорывается нелепость – нелепость, порожденная, быть может, отчаянием, как это случилось много лет спустя с Энусом Макналти (про него вы еще не знаете), – тогда-то тебя и пронзает любовью к этому человеку. Это любовь – которая ничего не знает, ничего не видит. И вот я все стою и стою там, все пытаюсь разглядеть что-то, заломив шею, все всматриваюсь и вытягиваюсь – пусть даже и только потому, что люблю его. А перья все кружатся и улетают, улетают. Отец зовет и зовет меня. Мое сердце рвется к нему. И молотки все падают.

Глава третья

Дорогой читатель! Дорогой читатель, если ты хороший, добрый человек, как бы я хотела ухватиться за твою руку. Я хотела бы столько всего невозможного. Тебя у меня нет, но зато есть много чего другого. Бывают мгновения, когда всю меня пронзает невыразимой радостью, так, будто бы, не имея ничего, я в то же время владею целым миром. Будто бы, сидя в этой комнате, я на самом деле сижу в предбаннике рая, и вскоре передо мной откроются двери, и я выйду к зеленым полям и обнесенным изгородями фермам, вознагражденная за все мои муки. Такой зеленью горит эта трава!

* * *

Утром заходил доктор Грен, и мне пришлось мигом припрятать эти записи. Не хочу, чтобы он их увидел и стал меня расспрашивать, потому что здесь уже появились секреты, а мои секреты – это и мое имущество, и мой разум. К счастью, я еще издали услышала, как он идет по коридору, потому что у него металлические набойки на ботинках. И к счастью, я ни капли не страдаю от ревматизма или еще какой-нибудь немощи, положенной в моем возрасте, по крайней мере в ногах. Руки у меня, увы, уже не те, что были, но вот ноги еще держат. Мыши, которые бегают за стеной, быстрее меня, но они и всегда были быстрее. Мышь, когда ей нужно, может бегать что твой спортсмен, это уж точно. Но доктора Грена я смогла опередить.

Он постучал в дверь – не то что этот бедняга, который прибирается у меня в комнате, Джон Кейн его зовут, если только я правильно пишу его имя, а я сейчас записала его в первый раз, – и когда вошел, то я уже сидела за пустым столом.

Доктор Грен, я думаю, человек незлой, и поэтому я встретила его улыбкой. Утро выдалось очень холодным, и все вещи в комнате были покрыты морозным налетом. Все так и переливалось. На мне самой были надеты все мои четыре платья, так что я неплохо укуталась.

– Гм, гм, – сказал он. – Розанна... Гм. Как себя чувствуете, миссис Макналти?

– Очень хорошо, доктор Грен, – ответила я. – Очень любезно с вашей стороны навестить меня.

– Это моя работа, – сказал он. – У вас в комнате сегодня убирали?

– Еще нет, – ответила я. – Но Джон, наверное, вот-вот придет.

– Наверное, – согласился доктор Грен.

Затем он прошел к окну и выглянул наружу.

– Холоднее дня еще не было, – заметил он.

– Не было, – согласилась я.

– У вас все есть, что нужно?

– В основном да, – ответила я.

Затем он уселся на мою постель, так будто это была самая чистая постель во всем христианском мире, вытянул ноги и поглядел на свои ботинки. Его длинная седеющая борода заострена, как топор. Борода-изгородь, борода святого. На кровати подле него лежала тарелка с остатками бобов со вчерашнего ужина.

- Пифагор, - сказал он, - верил в переселение душ и потому упреждал нас быть особенно осторожными при поедании бобов, на тот случай, если ешь душу своей бабушки.

- О! - отозвалась я.

- Так говорится у Горация, - сказал он.

- А к консервированным бобам это тоже относится?

Доктор Грен прекрасен тем, что чувство юмора у него отсутствует напрочь, но в этом-то и весь его юмор. Бесценное качество в таком месте, как это, уж поверьте.

- Итак, - повторил он, - вы чувствуете себя хорошо?

- Хорошо.

- Сколько вам уже лет, Розанна?

- Думаю, сотня.

- Не правда ли, удивительно - так хорошо себя чувствовать в сто лет? - спросил он так, будто бы это в какой-то мере была и его заслуга, хотя, наверное, так и есть. В конце концов, он наблюдает меня уже тридцать с лишним лет. Сам он тоже уже стареет, но еще не так стар, как я.

- Очень удивительно, доктор. Но меня многое удивляет. Меня удивляют мыши. Меня удивляют забавные зеленые лучики света, которые стучатся в это окно. Меня удивляет то, что вы навестили меня сегодня.

- Очень жаль, что мышей у вас так и не вывели.

- Мыши тут будут всегда.

- А разве Джон не ставит мышеловки?

- Ставит, но не слишком аккуратно. Мыши съедают весь сыр и преспокойно убираются восвояси, как Джесси Джеймс[б - Джесси Джеймс (1847-1882) - известный американский гангстер.] со своим братом Фрэнком.

Правой рукой доктор Грен стянул кожу на лбу к переносице и помассировал ее. Затем он потер нос и тяжело вздохнул. В этом вздохе были слышны каждый год, который он провел в этом заведении, каждое утро его жизни тут, каждый бессмысленный разговор о мышах, лекарствах и возрасте.

- Знаете, Розанна, - сказал он, - недавно мне пришлось проверить, на каком основании все наши пациенты здесь оказались - сейчас все это вызывает большой резонанс в обществе, - так вот, я просматривал и ваши документы и должен признаться...

Все это он произнес самым что ни на есть непринужденным тоном.

- Признаться? - подтолкнула я его.

Я знала за ним привычку вдруг молча погружаться в какие-то свои размышления.

- Ах да, простите. Гм, да, так вот. Я хотел спросить вас, Розанна, не помните ли вы, случайно, при каких обстоятельствах вас сюда поместили, вы бы мне очень помогли, если помните. Я сейчас поясню, зачем мне это нужно, - если до того дойдет.

Доктор Грен улыбнулся, и у меня возникло подозрение, что последняя фраза могла оказаться шуткой, но смысл ее ускользнул от меня, в частности, и потому, что, как я уже сказала, шутить ему было несвойственно. Я почувствовала, что все это неспроста.

И тут я сама - не лучше его - забыла ему ответить.

- Так вы помните что-нибудь?

- Вы о том, как я сюда попала, доктор Грен?

- Да, в общем, как раз об этом.

- Нет, - ответила я, сочтя откровенное вранье лучшим ответом.

- Видите ли, - сказал он, - к несчастью, многие поколения мышей, что неудивительно, как следует обжили наши архивы в подвале, да так, что там теперь ничего не разобрать. Над вашей историей болезни, например, они потрудились весьма своеобразно. В своем нынешнем виде она не посрамит даже египетские пирамиды. Такое впечатление, что дотронься до нее, и она рассыплется в прах.

Наступило долгое молчание. Я все улыбалась и улыбалась. Я старалась представить, что он видит, когда смотрит на меня. Сморщенное лицо, такое старое, утонувшее в возрасте.

- Конечно, я вас очень хорошо знаю. За все эти годы мы с вами о многом переговорили. Теперь я жалею, что нечасто делал записи. Вы вряд ли удивитесь, узнав, как мало я записал. Я вообще не любитель записывать - наверное, не самое похвальное качество для моей работы. Иногда говорят, что от нас никакой пользы, что мы никому не помогаем. Но я надеюсь, что вам мы, как сумели, помогли, несмотря на то что я делал непростительно мало записей. Я очень на это надеюсь. Я рад был узнать, что вы хорошо себя чувствуете. Мне хотелось бы думать, что вы счастливы тут.

Я улыбалась ему старой улыбкой старой женщины: будто бы я не совсем понимаю, о чем он говорит.

- Хотя, видит бог, - произнес он, выказав некоторую душевную тонкость, - тут никто не может быть счастлив.

- Я счастлива, - сказала я.

- Знаете, я вам верю, - ответил он. - Я, кажется, не знаю человека счастливее вас. Но, боюсь, мне придется снова вами заняться - в газетах сейчас столько всего пишут о людях, которые находятся в лечебницах не по медицинским показаниям, а, скажем так, по причинам социального характера, - будто бы их тут...

- Держат?

- Да, именно. Держат. И продолжают держать даже в наше просвещенное время. Конечно, вы здесь уже очень, очень давно. Лет, наверное, пятьдесят?

- Не помню, доктор Грен. Наверное, так оно и есть.

- Быть может, вы считаете это место своим домом?

- Нет.

- Что ж, у вас, как и у любого другого человека, есть право быть свободной, если вы готовы, готовы к этой свободе. Думаю, ведь даже в сто лет вам может хотеться пройтись по улице, поплескаться летом в море, понюхать розы...

- Нет!

Я вовсе не хотела так кричать, но, понимаете, сама мысль обо всех этих обыденных действиях, которые в умах многих людей прочно связаны с легкой, счастливой жизнью, для меня по-прежнему что острый нож в сердце.

- Простите?

- Нет, ничего, продолжайте, пожалуйста.

- В любом случае, если я выясню, что вы находитесь здесь без серьезной на то причины, то есть что для этого нет медицинских показаний, мне придется устроить вас в какое-нибудь другое место. Я бы не хотел огорчать вас. И, моя дорогая Розанна, я вовсе не намереваюсь выбросить вас на улицу. Нет-нет, ваш переезд будет тщательно спланирован и не произойдет без моего согласия и одобрения. Но вот расспросы – без кое-каких расспросов нам никак не обойтись.

Не знаю отчего, но вдруг всю меня будто окатило волной ужаса – так, наверное, яд искореженных и губительных атомов расползлся внутри людей на окраинах Хиросимы, убивая их так же верно, как и сам взрыв. Ужас был похож на тошноту, на воспоминание о тошноте, которое я ощутила в первый раз за много лет.

– Розанна, вам нехорошо? Пожалуйста, только не волнуйтесь.

– Конечно, я хочу на свободу, доктор Грен. Но она пугает меня.

– Обретение свободы, – любезным тоном сказал доктор Грен, – всегда сопряжено с чувством неопределенности. По крайней мере, в этой стране. А может быть, и во всех странах.

– С убийством, – сказала я.

– Да, иногда, – мягко согласился он.

Мы замолчали, и я принялась разглядывать плотный прямоугольник солнечного света на полу. Въевшиеся пятна древней пыли.

– Свобода, свобода, – повторил он.

В его запыленном голосе вдруг прозвенела какая-то затаенная тоска. Я ничего не знаю о его жизни вне этих стен, о его семье. Есть ли у него жена, дети? Существует ли миссис Грен? Не знаю. Или знаю?

Он человек умный. На хорька похож, но это не важно. Тот, кто может говорить о древних греках и римлянах, – человек одного поля с моим отцом. Мне нравится доктор Грен, невзирая на его пыльное отчаяние, потому что беседы с ним отдаленно напоминают мне беседы с отцом, вывязанные из слов сэра Томаса Брауна и Джона Донна.

– Но начнем мы не сегодня, нет-нет, – сказал он, поднимаясь с кровати. – Конечно же не сегодня. Но я счел своим долгом ознакомить вас с фактами.

С какой-то бесконечной врачебной терпеливостью он направился к двери.

– Вы этого заслуживаете, миссис Макналти.

Я кивнула.

Миссис Макналти.

Я всегда думаю о матери Тома, когда слышу это имя. Я тоже когда-то была миссис Макналти, но не в превосходной степени, как она. Никогда. Уж она не упустила случая лишний раз мне об этом напомнить. Впрочем, отчего же я назвалась тут миссис Макналти, хотя все приложили столько усилий, чтобы отнять у меня это имя? Даже не знаю.

– На прошлой неделе я был в зоопарке, – вдруг сказал он, – с другом и его сыном. Ездил в Дублин, чтобы выкупить кое-какие книги для жены. Книги о розах. Сына моего друга зовут Уильямом – как и меня, о чем вы, конечно, знаете.

Я не знала!

– И вот мы подошли к загону с жирафами. Уильяму они очень понравились – там были две крупные, высокие дамы-жирафы, с такими гибкими длинными ногами. Очень, очень красивые животные. Мне кажется, я никогда не видел животных прекраснее.

И тут посреди этой сверкающей комнаты мне привиделось что-то странное – слезинка, которая скользнула по его щеке и быстро скатилась вниз, – темное, тайное рыдание.

– Такие красивые, – сказал он. – Такие красивые.

Я замкнулась после разговора с ним, даже не знаю почему. Все-таки это не те счастливые, открытые, беззаботные беседы, что мы вели с отцом. Мне хотелось слушать его, но не хотелось больше отвечать. В разговоре мы чувствуем странную ответственность за собеседника и предлагаем ответы как утешение. Бедные мы люди! Хотя никаких вопросов он не задавал. Просто парил рядом со мной, бесплотный живой человек посередине жизненного пути, незаметно умирающий на ходу, как и все мы.

Глава четвертая

Чуть позже в комнату, что-то бормоча себе под нос и волоча за собой щетку, приковылял Джон Кейн, человек, которого я научилась принимать, как и все остальное здесь, – то, что нельзя изменить, нужно приучиться выносить.

С легким ужасом я заметила, что у него расстегнута ширинка. Штаны у него оснащены несколькими рядами довольно топорных пуговиц. Росту он маленького, но весь состоит из мускулов и резких линий. У него что-то неладное с языком, потому что через каждую пару секунд он вынужден с видимым усилием сглатывать слюну. Лицо у него покрыто сеткой синих вен и похоже на лицо солдата, который стоял слишком близко к пушечному жерлу во время выстрела. Если верить местным слухам, репутация у него здесь дурная.

– И зачем вам только все эти книги, миссус, очков-то у вас все равно нету.

Тут он опять сглотнул. И опять.

Я прекрасно вижу без очков, но ничего не сказала. Он имел в виду те три книжки, что остались у меня: томик *Religio Medici*, принадлежавший отцу, «Гончие смерти» да «Листья травы» мистера Уитмена.

Все три – в желтых и бурых следах от пальцев.

Но разговор с Джоном Кейном может свернуть куда угодно, как те наши разговоры с мальчишками в ту пору, когда я была еще девчонкой лет двенадцати: они сбивались в кучу возле поворота, с безразличным видом мокли под дождем и бросали мне фразы приглушенными голосами – поначалу приглушенными. Здесь же, в окружении теней и отзвуков чужих криков, молчание становится величайшей добродетелью.

Которые кормят их, не любят их, которые облачают их, не боятся за них.

Это какая-то цитата, но что это за цитата и откуда она, я не знаю.

Даже всякая чепуха опасна, молчание куда как лучше. Я здесь уже очень долго и за это долгое время как следует овладела искусством молчания.

Старый Том упек меня сюда. Уж наверное, он. Оказали ему услугу, ведь он сам работал портным при лечебнице для душевнобольных в Слайго.

Думаю, он еще и каких-то денег заплатил, потому что я сижу в отдельной комнате. Или мой муж Том платит за меня? Но ведь невозможно, чтобы он до сих пор был жив. Это не первая моя лечебница, первой была... Но что ж теперь припоминать старое. Место тут приличное, хоть и не дом. Вот если бы это был дом, тогда бы я сошла с ума!

Ох, надо бы мне выражаться яснее и понимать, что я тут вам говорю. Сейчас все должно быть записано верно, тщательно.

Это хорошее место. Это хорошее место.

Мне сказали, город тут неподалеку. Сам город Роскоммон. Не знаю, как далеко он отсюда, но на пожарной машине туда полчаса езды.

Я это знаю, потому что как-то ночью, много лет назад, меня разбудил Джон Кейн. Он вывел меня в коридор, и мы с ним торопливо спустились по лестнице, на два или три пролета вниз. В одном крыле начался пожар, и он вел меня в безопасное место.

Вместо первого этажа нам пришлось пройти через длинную темную палату, где уже собрались врачи и весь остальной персонал. Снизу валил дым, но это место сочли достаточно надежным. В комнате понемногу светлело, или мои глаза постепенно привыкали к полутьме.

Длинная узкая комната, наверное на пятьдесят кроватей, и везде раздернуты ширмы. Ветхие, истрепанные ширмы. Старые, старые лица, такие же старые, как мое нынешнее. Я застыла от изумления. Все они лежали неподалеку, и я ничего о них не знала. Старые лица – молчаливые, застывшие в оторопи, как пятьдесят русских икон. Кто они? Да ваши же родственники. Молча, молча спят они на пути к смерти, ползут на сбитых в кровь коленях к Господу.

Стайка бывших девочек. Я прошептала молитву, чтобы поторопить их души на небо. Мне казалось, что они карабкались туда уж слишком медленно.

Думаю, сейчас они все уже умерли, ну или почти все. Больше я к ним не ходила. Пожарная машина пришла через полчаса. Я это запомнила, потому что так сказал кто-то из докторов.

Места вроде этого не похожи на весь остальной мир, тут нет ничего, за что мы этот мир ценим. Здесь лежат сестры, матери, бабки и старые девы, всеми позабытые.

Город живых людей совсем недалеко, засыпает и просыпается, засыпает и просыпается, уложив своих забытых женщин здесь долгими рядами. Полчаса. Пожар привел меня к ним. Всего раз.

Которые кормят их, не любят их.

- Вам это нужно? - говорит Джон Кейн мне в ухо.

- Что?

Что-то лежало у него на ладони. Половинка скорлупы от птичьего яйца, голубого, что вены на его лице.

- Да, благодарю, - сказала я.

Давным-давно я подобрала его в саду. Оно лежало себе на подоконнике, и до этого он ни разу не обратил на него внимания. А оно там лежало, голубое, совершенное, вечно юное. И такое старое. Много-много поколений птиц тому назад.

- Наверное, оно малиновки, - сказал он.

- Наверное, - ответила я.

- Или жаворонка.

- Да.

– Ладно, положу назад, – сказал он, снова сглотнув так, будто бы язык костенел у него до самого корня, и горло его на мгновение вздулось. – Не знаю даже, откуда берется эта пыль, – сказал он. – Подметаю каждый день, а пыли не убывает, и, Богом клянусь, это такая древняя пыль. Не новая пыль, никогда тут нет новой пыли.

– Не новая, – сказала я. – Не новая. Простите меня.

На секунду он распрямился и взглянул на меня.

– Как вас зовут? – спросил он.

– Не знаю, – сказала я, внезапно перепугавшись. Я знаю его многие десятилетия. Почему же он спрашивает сейчас?

– Вы своего собственного имени не знаете?

– Знаю. Только забыла.

– Отчего у вас голос такой испуганный?

– Не знаю.

– Ну и ладно, – сказал он и, аккуратно собрав пыль в совок, пошел к двери. – Я все равно знаю, как вас зовут.

Я заплакала, но не как плачут дети, а как может плакать такая старуха, как я, – медленными, незаметными слезами, которых никто не увидит и никто не утрет.

* * *

Отец и опомниться не успел, как мы попали в гражданскую войну.

Я пишу это, чтобы осушить слезы. Вонзаю слова в бумагу ручкой, будто бы припиливаю к ней самое себя.

До гражданской войны была еще одна – против того, чтобы страной управляла Англия, но тогда в Слайго не сильно воевали.

Сейчас я пишу это и цитирую Джека, брата моего мужа, или по меньшей мере слышу его голос в этих фразах. Умолкший голос Джека. Бесстрастный. Джек, как и моя мать, был мастер говорить бесстрастно, хоть сам и бесстрастным не был. И этот же Джек потом нацепил английскую униформу и сражался против Гитлера на той, следующей войне, чуть не написала – на настоящей. Еще он был братом Энуса Макналти.

Три брата, Джек, Том и Энус. Да-да.

На западе Ирландии, кстати, его имя тянут, произносят будто через «а», Ан-нус. А в Корке, боюсь, говорят совсем кратко, и тогда его имя звучит ну совсем как «задница».

Но на гражданской войне Слайго воевал уж точно, воевали по всему западному побережью, с яростным рвением. Фристейтеры[7 - Фристейтеры – сторонники договора, подписанного между Англией и Ирландией в 1922 году. Согласно этому договору, Ирландия получала статус «свободного государства» на правах английского доминиона.] приняли договор с Англией. Так называемые ополченцы взвились против него, что твои кони впотьмах на сломанном мосту. Ведь про север страны в нем ничего сказано не было, и им казалось, что договор узаконил безголовую Ирландию, тело, обрубленное по плечи. Вся эта толпа на севере во главе с Карсоном цепляла их к Англии.

Джек, что меня всегда удивляло, превыше всего гордился тем, что он доводился Карсону кузенком. Но это так, к слову.

В те времена в Ирландии было много ненависти. Мне было четырнадцать – девчонка, которая пытается проклюнуться во взрослый мир. А вокруг – чад ненависти.

Милый отец Гонт. Наверное, я могу так сказать. Никогда еще столь честный и искренний человек не причинял таких страданий ни одной девице. Ведь я ни на минуту не сомневаюсь в том, что побуждения его были самыми добрыми. Однако же, как говорят в деревне, он меня «поприжал». А еще раньше – «поприжал» моего отца.

Я написала тут, что он был маленький человечек, имея в виду, что росту он был вровень со мной. Неугомонный, сухой и опрятный, вечно в черных одеждах, волосы острижены коротко, как у арестанта. Один вопрос перебивает мои мысли: что значили слова доктора Грена, когда он сказал, что ему придется снова мной заняться? Чтобы я могла выйти на волю. Где она, эта воля? Он сказал, что должен расспросить меня. Сказал ведь? Уверена, так он и сказал, хотя я только сейчас его услышала, когда его уже давно тут нет.

Паника во мне чернее простывшего чая.

Я сейчас как мой отец – давлю на газ старенького мотоцикла, но так крепко вцепилась в ручки, что мне кажется, будто они меня удержат.

Не отрывайте моих рук от руля, доктор Грен, прошу вас.

Оставьте мои мысли, добрый доктор.

Скорее, отец Гонт, скорее, поторопись из небытия смерти и займи его место.

Стой, стой передо мной, пока я царапаю свои каракули.

То, что я собираюсь рассказать, может показаться вам похожим на одну из историй моего отца, кусочек его маленького евангелия, но этот рассказ он никогда толком не пересказывал, не обтесывал так, чтобы тот стал ладным, как песенка. Я вам покажу лишь остов его, и ничего другого у меня нет.

Во времена той войны было, конечно, много смертей, и многие из этих смертей были ничем не лучше убийств. Разумеется, кое-кого из этих убитых отцу приходилось хоронить на своем аккуратном кладбище.

Мне было четырнадцать – одной ногой я еще стояла в детстве, другой – в девичестве. В маленькой школе при монастыре, где я училась, ближе к концу уроков возле ворот начинали шнырять мальчишки, и не могу сказать, что я их вовсе не замечала, напротив, я даже припоминаю, будто мне казалось, что от них исходит какая-то музыка, какой-то человеческий, но непонятный мне шум. Сейчас я уже и не скажу, как эти грубые формы могли издавать для меня хоть какую-то музыку. Но такова волшебная сила девочек: из простой глины они

могут вылепить большую классическую идею.

Поэтому я стала уделять меньше внимания отцу и его миру. Меня гораздо больше волновали мои собственные таинства – например, как же завить мои злосчастные волосы. Над этим я трудилась часами, используя специальный утюг для воротничков, которым мать отглаживала воскресную отцовскую рубашку. Утюг был легким и маленьким, быстро нагревался на каминной решетке, и я раскладывала на столе свои желтые пряди, будто надеясь, что неведомая мне магия уговорит их завиться. Итак, меня переполняли страхи и желания, свойственные моему возрасту.

Однако я по-прежнему частенько бывала в часовенке отца: делала уроки, наслаждалась теплом маленькой жаровни, которое он поддерживал благодаря причитающейся ему порции угля. Я учила уроки и слушала, как он поет «В гранитном дворце». И переживала по поводу своих волос.

Чего бы я не отдала сейчас лишь за пару прядок тех прямых, желтых волос!

Отец хоронил всех, кого ему приносили. В мирные дни он хоронил в основном стариков и больных, но в войну ему чаще, чем обычно, приносили трупы мальчиков или совсем еще мальчиков.

Над ними он горевал так, как никогда не горевал над старыми и немощными. Те смерти казались ему простыми и верными, и не важно, рыдали ли семьи и плакальщики на похоронах или хранили молчание у могил, он знал, что во всем этом есть смысл и некоторая справедливость. Часто случалось так, что отец знал отошедшего в мир иной старика и, если момент был подходящий, делился с родственниками воспоминаниями и историями о покойном. В такие минуты он будто бы говорил от имени их горя.

Но тела павших на войне печалили его по-другому, неистово. Казалось, что ему, как пресвитерианцу, нет места в ирландской истории. Но он понимал бунт.

В тумбочке у себя в спальне он хранил памятную брошюру в честь Пасхального восстания 1916 года, где были напечатаны фотографии его предводителей и календарь основных дат – сражений и траура. Его огорчало лишь то, что Восстание еще более превознесло тот странный порыв католицизма, который лежал в его основе, – и это, конечно, было ему чуждо.

Его печалило, что умирают молодые. В конце концов, со времен бойни Первой мировой минуло лишь несколько лет. Сотни мужчин из Слайго отправились воевать во Фландрию, как раз в год Восстания, и поскольку павшие в той войне лежали вдали от дома, то можно сказать, что все они были похоронены в моем отце, на тайном кладбище его мыслей. А тут и гражданская война, еще больше смертей, и всегда – мальчишки. Впрочем, в Слайго те, кому было уже за пятьдесят, в этой войне вообще не участвовали.

Он не роптал, конечно, потому, что знал, что войны всегда были и будут – в каждом поколении, однако выработал ко всему этому своеобразный профессиональный подход: ведь он все-таки был почетным попечителем мертвых, правителем ушедших.

Отец Гонт, например, был молод и мог бы, наверное, ощущать особое единение с погибшими. Но отец Гонт, такой ровный, такой ладный, никогда не чувствовал чужого горя. Он был что певец, который и петь может, и все слова вызубрил, но вот песню, которая родилась у композитора в сердце, пропеть никак не может. В основном говорил он сухо. И над молодыми, и над старыми он выводил одну и ту же сухую музыку.

Нет, не стоит мне говорить о нем дурно. В Слайго он обходил всю свою паству, заглядывал и в мрачные городские дома, где обнищавшие одинокие старики жили на одних консервированных бобах, и в грязные хижинки на берегу реки, которые сами походили на древних изголодавшихся стариков, с прогнившей черепицей волос и маленькими безучастными и темными окошками глаз. Да, туда он ходил тоже и никогда не унес с собой ни единой блохи, ни единой гниды. Он был чище, чем луна ясным днем.

Но этот маленький чистенький человек во гневе был похож на острый серп: трава, чертополох и все корешки человеческой природы падали под его лезвием. Отцу довелось в этом убедиться.

Вышло это вот как.

Как-то вечером мы с отцом сидели у него в часовенке, приготовляясь уже идти домой, к вечернему чаю, и вдруг слышали за старой железной дверью какой-то шорох и бормотание. Отец глянул на меня, напрягшись, как собака, которая вот-вот залает.

– Ну, что там еще? – спросил он скорее сам себя.

Ввалились трое мужчин, неся на руках четвертого, и будто бы их самих несла какая-то невидимая сила, сила, которая выдернула меня из-за стола, я не успела опомниться, как вжалась в стену, чувствуя, как сырая известь трется о мое школьное платье. Они влетели, как маленький ураган. Все совсем еще мальчишки, и тому, кого они несли, я бы не дала больше семнадцати. Это был довольно красивый долговязый парень, в потрепанной одежде, весь вымазанный грязью, болотной тиной и кровью. Вся рубашка у него была залита поблекшей кровью. Было ясно, что он мертв, – мертвое не придумаешь.

Остальные парни шумели и говорили без умолку – наверное, истерически, и из-за этого во мне самой стала подниматься истерика. Отец, однако, мрачно стоял подле жаровни, как человек, который пытается скрыть свои чувства: на лице не прочтешь ни единой эмоции, но в то же время, как мне показалось, внутренне готовясь в случае чего действовать решительно. Потому что у всех троих были старые ружья, а из карманов торчало и другое оружие, засунутое туда кое-как, будто бы его собирали впопыхах после стычки. Я знала, что на войне оружие было самой ходовой валютой.

– Что это вы удумали, парни? – спросил отец. – Сюда, сами знаете, покойников приносят не так, тут свой порядок, нельзя просто притащить сюда мальчишку. Помилосердствуйте!

– Мистер Клир, мистер Клир, – сказал один из парней, с резкими чертами лица и бритой – чтоб вши не завелись – головой, – нам больше некуда было его нести.

– Вы меня знаете? – спросил отец.

– Уж знаю. Знаю, с какой ноги вы тут копаете, и кое-кто сведущий шепнул мне, что вы не против нас, в отличие от многих местных идиотов.

– Может быть, и так, – ответил отец, – но вы-то кто? Фристейтеры или те, остальные?

– Посмотри на нас, мы грязь собрали со всех гор – что, очень похожи на фристейтеров?

- Не похожи. Ну так и что, ребята, что вы от меня хотите? Кто этот парнишка?

- Этого несчастного, - отвечал все тот же парень, - звали Вилли Лавелл, и ему было семнадцать, и его там, в горах, убила орава подлых, тупых и мерзких ублюдков, которые называют себя солдатами, но никакие они не солдаты, они хуже любого «черно-пегого»[8 - «Черно-пегие» (Black amp; Tans) - карательные отряды, посланные Англией в Ирландию для подавления революционного восстания в 1919 году.] на прошлой войне. Ну или им под стать, уж точно. Мы забрались так высоко в горы, подышали там с холоду и голоду, этот парнишка им сдался - а мы-то все попрятались в зарослях вереска, - но им-то мало того, что он сдался, и они давай его бить и пинать и задавать вопросы. И знай смеются и тычут ему ружьем в лицо, а хоть он был из нас самый храбрый, но - ты уж прости, мисс, - повернулся он ко мне, - перепугался так, что в штаны нассал, потому как знал, потому что знаешь, ведь всегда знаешь, сэр, когда тебя вот-вот пристрелят, и потому что они-то думали, что никто на них не смотрит, никто не видит, что они творят, и взяли да и выпустили три пули ему в живот. И стали себе спускаться вниз, веселые, как будто и не было ничего. Бог свидетель, как похороним Вилли, так уж сразу ими займемся - верно, парни? - и коли найдем, то на куски порубим.

И тут он же сделал нечто совершенно неожиданное - бурно разрыдался, бросился на тело своего павшего товарища и издал такой горестный вой, какого здесь не слышали ни до, ни после того, хоть то и было маленькое пристанище горя.

- Ты полегче бы, Джон, - сказал кто-то из парней. - Хоть тут на кладбище темно и тихо, а мы все-таки в городе.

Но первый парень все лежал на груди мертвеца и ревел, я хотела сказать, как девчонка, но нет, не так, совсем не так. Но я-то все равно, разумеется, была в ужасе аж по самый воротничок моей школьной блузки. Отец утратил спокойствие и быстро расхаживал туда-сюда между жаровней и стулом, на котором лежало несколько плоских старых подушечек, когда-то бывших красными.

- Мистер, мистер, - заговорил тут третий, худой высокий парень, которого я и не видела раньше, штаны едва доходили ему до лодыжек, и казалось, будто он только что спустился с гор. - Его бы похоронить надо прямо сейчас.

– Я не могу никого хоронить без священника, не говоря уже о том, что и места на кладбище у вас, наверное, нет.

– И когда это нам покупать тут места, если мы сражаемся за Ирландскую республику? – спросил первый, с трудом унимая слезы. – Да вся Ирландия – место на кладбище. Нас зарыть везде можно. Потому что мы – ирландцы. Или ты не знаешь, что это такое?

– Уж надеюсь, что и я тоже ирландец, – сказал отец, и я поняла, что слова парня его задели.

И верно, пресвитериан не слишком жаловали в Слайго, хотя и не знаю даже почему. Разве что еще со стародавних времен, когда прозелиты, хоть и без особого успеха, продвигали пресвитерианскую доктрину на западе, и кое-какие католики, будучи в страшной нужде и голоде, перешли в эту веру, тем самым породив к пресвитерианам еще больше страха и недоверия.

– Его надо похоронить, – сказал третий. – Это ведь младший братишка Джона там, на столе.

– Это твой брат? – спросил отец.

Внезапно парень затих – совершенно.

– Брат, – ответил он.

– Печально, – сказал отец. – Печально.

– И рядом с ним не было священника, чтобы отпустить ему грехи. Можно ли позвать к нему священника?

– Священник тут отец Гонт, – ответил отец. – Он человек хороший, если хотите, я могу послать за ним Розанну.

– Но пусть она ему ничего не говорит, пусть просто попросит прийти сюда и пусть ни с кем не разговаривает по дороге – уж тем более ни с какими

фристейтерами, потому что стоит ей слово сказать, и нас тут всех поубивают. Я мог бы сказать, что мы вас уьем, если она проболтается, но это уж мы вряд ли.

Отец с удивлением взглянул на него. Я подумала, что парень высказался честно и вежливо, и потому решила сделать, как он просит, и ни с кем не разговаривать по пути.

– Да и все равно, пуль у нас нет, потому-то мы и сидели в этих зарослях вереска, как трусливые зайцы, и не шевелились. Уж надо было бы нам пошевелиться, парни, – сказал брат убитого, – и вскочить, и наброситься на них, потому что никак нам нельзя быть в этом мире, если Вилли мертвый, а мы живые.

И тут парнишка снова не выдержал и горько разрыдался.

– Слушай, ты уж не убивайся так, – сказал отец. – Я пошлю Розанну за отцом Гонтом. Давай-ка, Розанна, беги в дом священника да приведи отца Гонта, будь умницей.

И я выскочила на зимнее кладбище, где свистел ветер, и помчалась по улицам мертвых к дороге, которая начиналась на вершине холма и спускалась в Слайго, побежала по ней и вскоре добежала до дома священника: маленькая кованая калитка, посыпанная гравием дорожка, и вот я уже колочу в его крепкую дверь, выкрашенную в зеленый, как листья герани, цвет. Теперь, когда меня оторвали от отца, я уже не думала об утюжках для завивки и волосах, я думала только о его жизни, потому что знала: эти трое перевидали много ужасов, а те, кто видел ужасы, и сами могут их творить, потому что таковы законы жизни и войны.

Слава Господу, вскоре наружу высунулось маленькое личико отца Гонта, и я, захлебываясь, стала просить его прийти к моему отцу: он там очень нужен, пожалуйста, пожалуйста.

– Иду, – сказал отец Гонт, потому что был не из тех, кто отсиживается дома, когда в них есть нужда, не то что многие из его братии, которые уж слишком гордые, чтоб дождя нахлебаться.

И впрямь, когда мы взбирались обратно на холм, дождь бил нам прямо в лица, и вскоре его длинный черный плащ спереди весь блестел от влаги, да и я блестела тоже, только на мне не было никакого плаща, и подставляла миру одни

мокрые ноги.

– Кому же я там понадобился? – скептически спросил меня священник, когда мы вошли в ворота кладбища.

– Тот, кому вы понадобились, умер, – ответила я.

– А разве тогда надо так торопиться, Розанна?

– Вы еще нужны и живому, отец. Его брату.

– Ясно.

На кладбище все надгробия тоже блестели от воды, и ветер танцевал между рядами могил, так что нельзя было угадать, где именно тебя окатит дождем.

Когда мы вошли в часовенку, там мало что переменялось – будто бы четверо живых (и уж мертвый-то точно), стоило мне выйти, застыли на своих местах, да так с них и не сдвинулись. Ополченцы разом повернули свои юные лица к отцу Гонту, едва он вошел.

– Отец Гонт, – сказал отец, – простите, что пришлось вас позвать. Эти ребята просили вас привести.

– Они держат вас в заложниках? – спросил священник, явно возмущенный видом оружия.

– Нет.

– Меня вы, надеюсь, не пристрелите? – спросил отец Гонт.

– В этой войне еще ни одного священника не убили, – сказал тот, кого я называла третьим. – Хоть все и очень плохо. Тут пристрелили только одного беднягу, Вилли, брата Джона. Вот он совсем помер.

– Давно ли он умер? – спросил отец Гонт. – Принял ли кто-то его последний вздох?

– Я, – ответил брат.

– Так верни ему его вздох, – сказал отец Гонт, – и я благословлю его. И да попадет его несчастная душа в рай.

И тогда брат поцеловал рот своего умершего брата, возвращая последний вздох, испущенный им в момент смерти. Отец Гонт благословил покойника, склонился над ним и осенил его крестом.

– Можете ли вы, отец, отпустить ему его грехи, чтобы он отправился на небеса безгрешным?

– Не повинен ли он в убийстве, не убил ли кого на войне?

– Убить человека на войне – это не убийство. Это просто война.

– Друг мой, ты прекрасно знаешь, что наши епископы запретили нам отпускать ваши грехи, потому что решили, что ваша война несправедливая. Но я отпущу ему его грехи, если вы знаете, что он не убивал. Отпущу.

Трое парней переглянулись. На их лицах отразился тайный темный страх. Это были молодые мальчишки-католики, и они боялись соврать в таком деле, боялись, что не смогут помочь товарищу попасть на небо, и я уверена, каждый из них изо всех сил старался подыскать такой ответ, который окажется правдивым, потому что только правда выведет мертвеца в рай.

– Только правда ему поможет, – сказал священник, и я аж подпрыгнула, услышав эхо собственных мыслей. То были простые мысли простой девчонки, но, может быть, эта католическая вера всегда довольно проста в своих устремлениях.

– Никто из нас никогда не видел, чтоб он кого-то убил, – наконец ответил брат. – Если б видели, мы бы сказали.

– Что ж, хорошо, – сказал священник. – Я очень сочувствую вашей беде. Жаль, что пришлось вас об этом спрашивать. Очень жаль.

Он подошел поближе к покойнику и коснулся его с невероятной нежностью:

– Я отпускаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа.

И все присутствовавшие, в том числе и мы с отцом, отозвались:

– Аминь.

Глава пятая

Записи доктора Грена

Было бы неплохо, если б иногда я думал: «Я знаю, что я делаю».

Я как-то совершенно недооценил наше Министерство здравоохранения, хотя, честно говоря, не думал, что когда-нибудь это скажу. Мне сообщили, что строительство нового здания вот-вот начнется, – место под него выбрали на другом конце Роскоммона, и, как меня заверили, место это прекрасное. Чтобы не допустить переизбытка хороших новостей, мне сообщили также, что кроватей там будет значительно меньше, а у нас их ведь так много.

Действительно, у нас тут есть палаты, где стоят одни кровати, не потому, что мы не можем их заполнить, а потому, что сами комнаты разрушены так, что разрушаться уже нечему, – потолки вот-вот рухнут, стены раздуты от плесени. Всякое железо – каркасы кроватей, например, – проржавело до основания. Новые кровати в новом здании будут произведениями искусства – никакой ржавчины, новые и красивые, но их будет меньше, гораздо меньше. Нам предстоит безумное, безумное отсеивание.

Я так и не сумел справиться с чувством, что будто бы отрекаюсь от тех пациентов, которым не хватит кроватей. Наверное, это чувство вполне

объяснимо, но в то же время я виню во всем себя. Есть у меня эта поистине дурацкая привычка – питать к пациентам отцовские или, скорее, даже материнские чувства. После стольких лет, проведенных здесь, которые, как я знаю, обычно лишь притупляют любые чувства и инстинкты у всех, кто работает в этой области, я, напротив, ревностно жажду благополучия и счастья для всех моих пациентов, пусть даже и отчаиваясь из-за отсутствия прогресса. Но здесь меня начинают терзать подозрения. Может ли быть так, что, потерпев неудачу в отношениях с собственной женой, я начал воспринимать это место как своего рода брачную площадку, где я могу быть чистым и невинным и где мне (о, какая жалкая нужда) ежедневно отпускают все мои грехи.

Про старую и поношенную одежду обычно говорили: «еще можно спасти» или «уже не спасешь». В прошлом все мужские костюмы и женские робы в таких местах перешивались из бывшей в употреблении одежды, пожертвованной для больницы. Для мужчин шили портные, для женщин – портнихи. И тогда, я уверен, даже ткань, которую «уже не спасешь», считалась вполне годной для местных бедняг. Но с течением времени, по мере того как я вместе со всеми постепенно изнашиваюсь, нахожу в собственной ткани дыру за дырой, растет и моя потребность в этом месте. Доверие тех, кто находится в темной бездне, действует как искупление. Быть может, мне следовало более огорчаться из-за безысходности психиатрии как науки, ужасающего угасания тех, кто застрял здесь, общей невозможности всего происходящего. Но да простит меня Господь, это не так. Через пару лет можно будет выходить на пенсию, и что тогда? Буду как воробей без сада.

Конечно, я понимаю, что все эти мысли породила нынешняя ситуация. Я впервые осознал все бесстыдство – да, это именно то слово, – все бесстыдство моей профессии. Все ее попытки вечно пролезть с черного хода, всю ее околичность. А теперь еще я, в затаившемся приступе глупости, сам решил не ходить вокруг да около. Всю неделю я общался с разными пациентами, некоторые из них – личности совершенно удивительные. У меня такое чувство, будто бы я их для чего-то собеседую – для чего-то, что приведет к изгнанию, гибели. И если они проявят себя здоровыми людьми, то их придется сослать в благословенное «общество». Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что так думать в корне неверно, поэтому-то пытаюсь тут выпускать пар. Напротив, мне надлежит быть беспристрастным, как говаривали раньше – отстраненным, и всячески подавлять в себе сострадание, потому что сострадание – это моя слабость. Взять хотя бы вчерашнего пациента – фермер из Лейтрима, когда-то у него было четыреста акров земли. Он безумен идеально, совершенно. Рассказывал, будто его род такой древний, что его предков можно проследить на две тысячи лет назад.

Рассказал также, что он последний в своем роду. Детей у него нет – сыновей уж точно, – и его имя умрет вместе с ним. Зовут его Мил[9 - Mil – по-ирландски означает «мед».] – имя и впрямь достаточно странное, возможно, оно происходит от ирландского слова «мед», по крайней мере, он так утверждает. Ему около семидесяти, он величавый, больной, сумасшедший. Да, сумасшедший. Точнее, у него психоз, – к несчастью, в его деле записано, что много лет назад его нашли в школьном дворе: он прятался под скамьей, а к ноге у него были привязаны три мертвые собаки, которых он повсюду за собой таскал. Но когда я говорил с ним, то ощущал одну лишь любовь. Как нелепо. И очень, очень подозрительно.

* * *

Как же часто мои пациенты представляются мне овечками, которые несутся с холма прямо к краю обрыва. А мне нужно быть тем пастухом, что умеет насвистеть любую команду. Но я не знаю ни одной. Впрочем, поживем – увидим.

«Поживем – увидим», – сказала крыса, услышав стук деревянной ноги[10 - Возможно, имеется в виду ирландская сказка о кошке, которая была грозой всех крыс, но однажды сама попала в капкан. Тогда хозяин приделал ей деревянную ногу, и она стала ловить мышей еще лучше.].

Бет так всегда говорит. Что это значит? Не знаю. Быть может, это строчка из какой-нибудь очень известной детской сказки, из еще чего-нибудь известного детского и ирландского, о чем я и понятия не имею, потому что все детство провел в Англии. Совершенно невозможно быть ирландцем и не иметь при этом ни крохи детских воспоминаний, ни даже капли чертова акцента. Никто и никогда не принимал меня за ирландца, а я, насколько мне известно, ирландец.

В спальне Бет, прямо над моей, всю неделю было тихо, она даже не включала Би-би-си, хотя обычно всегда слушала новости. Бет. Моя жена. Напугала меня до чертиков.

Вчера вечером я предпринял попытку rapprochement[11 - Примирение (фр.).] – если это так пишется. Я люблю ее, тут у меня нет никаких сомнений. Так отчего же эта моя так называемая любовь нехороша для нее, отчего же она, напротив, вредит ей? Ох, я тут перечитал свою предыдущую запись, ту, где я так тонко

или, может, не очень уж тонко льстил себе насчет любви и сострадания, – аж живот свело, когда прочел, – и так на себя разозлился, что пошел на кухню и услышал, как она готовит эту ужасную бурду, которую пьет на ночь.

«Комплан»[12 - Название напитков, сделанных на основе сухого молока с различными витаминными и вкусовыми добавками.]. Если и есть на свете кошмарный напиток, так это он, напиток со вкусом смерти. В смысле, Жизнь-и-в-Смерти и Смерть-и-в-Жизни, это Кольридж, кажется. «Сказание о старом мореходе». В чей же рукав мне вцепиться, чтобы поведать мою историю? Раньше я цеплялся за Бет. Теперь остался без рукавов. А я ведь знаю, что цеплялся за ее рукав слишком часто, чересчур часто. Как я выражаюсь, «питался» ее энергией, не отдавая ничего взамен. Быть может. Нам было хорошо вдвоем. Мы с ней были королем и королевой утреннего кофе – во тьме зимнего рассвета и в лучах раннего летнего солнца, которое входило к нам прямо через окно, прямо в наше окно, и будило нас. Да-да, маленькие житейские мелочи. Мелочи, которые мы зовем душевным здоровьем или даже полотном, из которого оно соткано. В те времена, когда мы с ней разговаривали, – нет-нет, Господи, упаси меня от сентиментальности. Нет больше тех дней. Теперь мы с ней – два разных государства, просто посольства наши находятся в одном доме. Мы находимся в дружественных отношениях, но они строго ограничены рамками дипломатического протокола. Нас связывает подспудное чувство осуждения, перешептываний за спиной, словно бы каждый из нас виновен в тяжком преступлении против другого, которое, однако, свершилось в другом поколении. Мы с ней – одна из стран Балтики. Только она, черт побери, ничего мне не сделала. Преступление было односторонним.

Я совсем не собирался тут все это писать. Предполагалось, что тут будет профессиональный – или хотя бы полупрофессиональный – отчет о состоянии дел, о последних днях этого незначительного, забытого, важного места. Места, где я провел всю свою врачебную жизнь. Лжехрам моих устремлений. Знаю, меня пугает то, что я ничего не сделал для местных заключенных, что я идеализировал их и тем самым подвел их, как пугает меня и уверенность в том, что я сломал жизнь Бет. Жизнь, ту самую «жизнь», ее неписаную повесть о самой себе, ее... даже не знаю. Я вовсе не собирался делать этого. Я гордился тем, что честно верен ей, что ценю ее, что практически поклоняюсь ей. Возможно, ее я тоже идеализировал. Пагубный хронический идеализм. Черт, когда я гордился ей, на самом деле я гордился собой, и это было замечательно. Пока она была хорошего мнения обо мне, и я о себе был самого высокого мнения. Я жил этим, проживал на этом топливе каждый божий день. Так чудесно, так ярко, так нелепо. Но я бы весь мир отдал, чтобы вновь вернуться в то состояние. Знаю, это невозможно. И все же. Когда снесут этот мир, вместе с ним погибнет

огромное множество крохотных историй. И на самом деле это очень страшно – даже ужасно.

Итак, я зашел на кухню. Уж не знаю, было ли ей приятно меня видеть. Наверное, не очень, и она просто терпеливо сносила мое присутствие. «Комплан» она, кстати, не делала, растворяла в воде какие-то таблетки, дисприн или что-то вроде.

– Что случилось? – спросил я. – Голова болит?

– Ничего, все нормально, – ответила она.

Год назад, в январе, ей пришлось поволноваться, когда она пошла за покупками, упала на улице в обморок и ее отвезли в местную больницу. Целый день ей делали всякие анализы, а вечером кто-то из докторов безо всякой задней мысли позвонил мне с просьбой забрать ее. Он, наверное, думал, что мне уже обо всем сообщили. Как же я перепугался! Выезжая со двора, я чуть было не разбил машину, чуть было не повис на столбе, гнал так, как гонит мужчина, который ночью везет в роддом беременную жену, у которой уже начались те самые пресловутые схватки, хотя Бет так и не довелось их испытать, и в этом-то, наверное, все и дело.

Она уставилась в стакан.

– Как ноги? – спросил я.

– Опухли, – ответила она. – Там одна вода. То есть мне так сказали. Скорее бы отпустило.

– Да, скорее бы, – сказал я, вдруг набравшись смелости, услышав это «отпустило» – как «отпуск». – Слушай, я тут подумал, а что, если, когда я разберусь со всеми делами на работе, нам с тобой куда-нибудь съездить на пару дней. Устроим себе отпуск.

Она взглянула на меня, встряхивая шипящие таблетки в стакане, готовясь ощутить их горечь во рту. Вынужден сообщить, что она рассмеялась – так, короткий смешок, который, как мне кажется, она вовсе не хотела себе

позволять, но вот мы оба его слышали.

- Думаю, не получится, - сказала она.

- Почему? - спросил я. - Давай как в старые времена. Нам обоим это пойдет на пользу.

- Советуете, доктор?

- Да-да, пойдет на пользу. Определенно.

Внезапно говорить стало очень трудно, будто бы каждое слово застревало во рту комком грязи.

- Прости, Уильям. - Она назвала меня полным именем, дурной знак: больше я не Уилл, теперь я Уильям, теперь я отдельно. - Мне совсем не хочется ехать. Не могу видеть всех этих детей.

- Кого?

- Всех, кто приезжает с детьми.

- Почему?

Глупый, бездонный вопрос. Дети. То, чего у нас нет. И наши бесконечные усилия. Бесконечные. И бесплодные.

- Ты ведь неглупый человек, Уильям.

- Ну, поедем куда-нибудь, где нет детей.

- Куда? - спросила она. - На Марс?

- Куда-нибудь, где их нет, - сказал я, подняв взгляд к потолку, будто бы его и имел в виду. - Не знаю куда.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Тогда-то и случилось самое-самое страшное. И по сей день, Богом клянусь, я не знаю, как же это произошло. Уж кто-нибудь другой знает точно или знал, пока был жив. Быть может, не так уж и важно, как именно все произошло, да и не было никогда важно, а важно только то, что некоторые люди обо всем этом думали.

Теперь-то это уже не имеет никакого значения, потому что время унесло всех этих людей. Но вдруг есть какое-то другое место, где все бесконечно важно, – высший суд, например. Такой суд бы и живым пригодился, да вот только живым туда не попасть.

Вдруг какие-то чужаки принялись ломиться в дверь, выкрикивая что-то грубыми солдатскими голосами. Мы все прыснули в разные стороны, будто стайка мокриц: я стала пятиться назад, будто трагический персонаж из пьесы передвижного театра – такие у нас иногда играли в насквозь отсыревшем концертном зале, – трое ополченцев полезли под стол, а отец подтолкнул ко мне отца Гонта, будто бы пытаюсь укрыть меня между священником и своей любовью.

Ведь каждый понимал: сейчас начнут стрелять, и стоило мне это подумать, как дверь слетела со своих огромных петель.

Да, это были парни из новой армии, в своей нелепой форме. При взгляде на них можно было подумать, что пуль у них предостаточно, ведь они целились в нас с такой яростной сосредоточенностью, но я, выглядывая у отца между ног, своим молодым взглядом увидела при свете жаровни лишь шесть или семь насмерть перепуганных юных лиц.

Долговязый горец, тот, у которого штаны не доходили до щиколоток, вдруг выскочил из-под стола и, повинувшись своим безумным соображениям, набросился на вошедших, будто мы были на самом настоящем поле боя. Брат покойного кинулся вслед за ним, как, быть может, того требовало его горе. Трудно описать, как грохочут пули в маленьком помещении, но от этого звука вся плоть на костях съеживалась. Мы все – я, отец и священник – вжались в стену, и пули, которые попали в обоих парней, должно быть, прочертили в них странные дорожки, потому что внезапно я увидела, как забугрилась старая побелка на

стене позади меня. Сначала это были пули, а затем – тонкие всполохи крови на моем форменном платье, на моих руках, на моем отце, на моей жизни.

Оба ополченца – еще живые – извивались на полу, переплетясь телами.

– Во имя всего святого! – вскричал отец Гонт. – Прекратите! Здесь же молоденькая девочка и обычные люди! – (Уж не знаю, кого он так назвал.)

– Опустить ружья, опустить ружья! – крикнул один из пришедших солдат, крик – почти вопль.

И сразу же последний из тех троих бросил на пол свое ружье, отстегнул пистолет от пояса, встал и поднял руки. На мгновение он обернулся и глянул на меня, мне показалось, что у него из глаз текут слезы, что-то и впрямь творилось такое в его глазах, он будто бы вонзался в меня взглядом, яростно, так яростно, будто бы мог убить им вместо тех пуль, которых у него не было.

– Послушайте, – сказал отец Гонт, – я думаю, у этих людей нет патронов. Остановитесь! Хотя бы на минуту! Пожалуйста!

– Патронов нет? – спросил командир фристейтеров. – Конечно нет, потому что они их все извели на наших ребят в горах. Это ведь вы в горах были, ублюдки?

Боже мой, боже, мы знали, что это были именно они, но почему-то никто из нас и слова не проронил.

– Вы убили моего брата! – отозвался с пола тот, которого звали Джоном.

Он держался за бедро, и под ним расплывалась огромная непонятная темная лужа крови, черной, как оперение дрозда.

– Вы хладнокровно убили его! Взяли его в плен, безоружного, и выстрелили ему в живот, выстрелили три раза, вы, суки!

– Чтобы он не прятался там по кустам и не стрелял по нам, – ответил командир. – Ну-ка, хватайте этих, а ты, – повернулся он к тому парню, который сдался, – под арестом. Тащите их в грузовик, парни, будем с ними разбираться. Мы поймали

вас ночью, как крыс, в какой-то грязной дыре. Ты, тебя как зовут?

- Джо Клир, - ответил мой отец. - Я тут смотрителем. А это отец Гонт, один из местных викариев. Я его позвал к телу мальчика.

- Так, значит, вы в Слайго этот сброд хороните? - спросил командир с необычайной яростью.

Он кинулся к столу и приставил пистолет к голове отца Гонта:

- И какой же ты священник, если не слушаешь своих же епископов? Что, тоже заодно с этими вонючими предателями?

- Неужели вы застрелите священника? - ошеломленно спросил мой отец.

Отец Гонт закрыл глаза, он стоял на коленях так, будто в церкви перед алтарем. Он стоял на коленях, и не знаю, молился ли он про себя, но вслух он не произнес ни слова.

- Джем, - позвал командира один из фристейтеров, - наши ребята не пристрелили еще ни одного священника в Ирландии. Не стреляй.

Командир отступил назад и опустил пистолет:

- Ладно, парни, хватайте их и валим отсюда.

Солдаты довольно мягко подняли с пола обоих раненых и вывели их за дверь. Пока третьего уводили, он в упор смотрел на меня:

- Господь да простит тебя за то, что ты сделала, а я - так никогда не прощу.

- Но я ничего не сделала! - сказала я.

- Ты им про нас рассказала.

- Не рассказывала, Богом клянусь!

- Бога здесь нет, - ответил он. - А по тебе видно, что донесла.

- Нет! - крикнула я.

Парень рассмеялся - ужасный смех, будто дождем в лицо хлестнуло, - и солдаты увели его. Было слышно, как они подгоняют арестованных, ведя их по кладбищенским дорожкам.

Меня всю трясло. Когда все вышли, командир протянул отцу Гонту огромную руку и помог ему подняться.

- Простите меня, отец, - сказал он. - Ночка выдалась ужасная. Одни смерти да погромы. Простите.

Говорил он так искренне, что меня, да и моего отца тоже, я уверена, его слова просто потрясли.

- Это было просто низко, - тихо сказал отец Гонт, в голосе которого, несмотря на все происшедшее, явственно слышалась странная нотка ярости. - Низко. Я полностью поддерживаю наше новое государство. Мы все его поддерживаем, кроме этих безумных заблудших юношей.

- Так слушали бы своих епископов. И не помогали бы тем, кто проклят.

- Уж позвольте мне на этот счет иметь свое мнение, - ответил отец Гонт высокомерным тоном школьного учителя. - Что вы будете делать с телом? Заберете с собой?

- А вы-то что с ним будете делать? - спросил солдат с внезапной усталостью в голосе, которая наваливается после того, как вся энергия растрочена на один мощный порыв.

Они все сорвались куда-то в неизвестность, где их ждала не пойми какая опасность, и казалось, что теперь сама мысль о том, что надо куда-то еще тащить Вилли, брата Джона, стала последним перышком. Или молотком.

– Я позову доктора, который выпишет заключение о смерти, затем постараюсь отыскать родных, а там уж, наверное, мы могли бы похоронить его тут, если не возражаете.

– Это как черта здесь закопать. Бросьте его лучше в канаву за оградой, как какого-нибудь убийцу или выродка.

На это отец Гонт ничего не ответил. Солдат ушел. На меня он и не взглянул. Когда стих хруст гравия под его сапогами, часовню накрыло необычайной морозной тишиной. Отец стоял молча, священник молчал тоже, я молча сидела на холодном сыром полу, и брат Джона Вилли был молчаливее всех.

– Я страшно возмущен, – произнес отец Гонт своим самым воскресным тоном, – что меня втянули во все это. Страшно возмущен, мистер Клир.

Отец заметно растерялся. А что же он еще мог сделать? Обмякшее лицо отца пугало меня не меньше, чем коченеющий труп Вилли.

– Простите, – сказал отец. – Простите, если дурно поступил, попросив Розанну сбегать за вами.

– Вы поступили дурно, да, дурно. Я чрезвычайно удручен. Вспомните, ведь это я вас сюда назначил. Я вас назначил, и для этого, уж поверьте, потребовалось много уговоров. И вот как вы меня отблагодарили, вот как.

С этими словами священник ушел в дождь и тьму, оставив нас с отцом наедине с мертвым мальчиком – ждать приезда доктора.

– Да, наверное, из-за меня его чуть не убили. Наверное, он испугался. Но я ведь не нарочно! Господи боже, я думал, священники готовы прийти куда угодно. Я вправду так думал.

Теперь перепугался и мой отец, но уже совсем по другой причине.

* * *

Как же медленно, как неторопливо судьба его уничтожала.

Мы видим то, что движется со скоростью человека, но то, что проносится мимо огромными скачками, остается для нас незримым. Дитя видит в темном ночном окне мерцающую звезду и протягивает руку, чтобы ухватить ее. Так и мой отец пытался ухватить то, до чего ему было не дотянуться, а когда на него наконец проливался свет, то были отблески давно ушедшего, давно умершего.

Мне кажется, что отец всегда путался в ногах у истории.

Он и хотел, и не хотел хоронить этого мальчика, Вилли, и потому позвал священника, чтобы тот помог ему принять решение. Будто бы он, со своей пресвитерианской верой, вдруг оказался замешанным в какое-то священное убийство или убийства, в нечто настолько поправшее все законы любви и доброты, что даже оказаться рядом с этим было само по себе губительно, убийственно.

Спустя много лет я слышала другие версии того, что произошло той ночью, и они были совсем не тем, что помнилось мне, но всякий раз одно оставалось неизменным: на пути к дому отца Гонта я забежала к фристейтерам и все им выложила – или по просьбе отца, или по собственному почину. Тот факт, что я ни с кем не говорила, никого не видела и даже ни о чем таком не помышляла – ведь тогда отец оказался бы еще в большей опасности, разве нет, – неофициальная история Слайго так и не учла ни тогда, ни сейчас. Потому что история видится мне не тем, что на самом деле приключилось, не последовательным изложением правды, а сказочным нагромождением догадок и предположений, которые воздевают к небу, как знамена против чахлах войск истины.

Когда речь идет о людях, истории необходимо быть чертовски изобретательной, потому что неприкрашенная правда о жизни выглядит как обвинение в том, что человек на земле – не самый главный.

Моя история, да чья угодно история, всегда свидетельствует против меня, даже против того, что я сама тут пишу, потому что нет в ней никакого геройства. Все трудности, что в ней есть, все они – моих рук дело. Наши сердце и душа, столь любимые Господом, осквернены нашей земной жизнью, да этого и не избежать. Кажется, это вовсе не мои мысли, быть может, я позаимствовала их из давнего чтения сэра Томаса Брауна. Но я ощущаю их своими. Они звенят у меня в голове,

будто собственные мысли. Странно как. Наверное, потому Господь – знаток оскверненных душ и сердец, что может разглядеть в них исходный, изначальный образ и возлюбить его.

И лучше бы Ему так поступить и со мной, не то вскоре мне доведется куковать с дьяволом.

Дома у нас всегда было чисто, но это было совсем незаметно в тот день, когда к нам пришел отец Гонт. Было воскресное утро, около десяти, отец Гонт, наверное, забежал к нам из своей церкви на берегу реки в перерыве между мессами. Моя мать пристроила старое зеркальце на куске желтого кирпича, который лежал на подоконнике в гостиной, так что мы всегда могли первыми увидеть, кто к нам идет, и, завидев священника, мы все заметались по дому. Четырнадцатилетняя девочка всегда остро воспринимает свою внешность или думает, что воспринимает, но, раз уж речь зашла о зеркалах, – в то время меня поработило зеркало в спальне у матери, и вовсе не потому, что мне казалось, будто я хорошо выгляжу, а потому, что я совсем не знала, как я выгляжу, и я провела перед ним много часов, стараясь втиснуть себя в картинку, которой я смогу довериться или удовлетвориться, но мне этого никогда не удавалось. Золото моих волос виделось мне какой-то разросшейся мокрой травой, и, хоть убей меня, я не знала, какая она – та, что всматривалась в меня из тусклого зеркальца моей матери. Поскольку края зеркала от времени странно затемнели, мать купила какую-то необычную эмалевую краску, наверное у аптекаря, и украсила кромку крохотными черными листиками и бутонами, которые придавали любому отражению в этом отнюдь не поэтическом зеркале похоронный вид, что, вероятно, сочеталось с профессией моего отца, по крайней мере до того дня. Поэтому я первым делом взлетела по нашей маленькой лесенке к зеркалу и напала на свою четырнадцатилетнюю ужасность.

Когда я спустилась назад в гостиную, отец стоял посередине комнаты, озираясь, будто заартачившийся пони, – то глянет на мотоцикл, то на пианино, то куда-то между ними, то примется поправлять подушку на нашем «лучшем» кресле. Выглянув в крохотную прихожую, я увидела, что мать застыла там как приклеенная, без единого движения, как актриса, которая набирается храбрости перед выходом на сцену. Наконец она подняла засов.

Когда отец Гонт протиснулся в гостиную, первое, что бросилось мне в глаза, – какой он был весь лоснящийся, какой гладковыбритый, хоть пером по нему пиши. Он выглядел очень надежным, самым надежным, что было в Ирландии в

те безнадежные времена. Каждый месяц в году был самым худшим, говорил мой отец, потому что каждый убитый эхом ricochetил по нему. Но священник казался незыблемым, нетронутым, непричастным – как будто бы он к самой истории Ирландии не имел никакого отношения. Конечно, тогда я об этом не думала. Бог знает о чем я вообще тогда думала, помню только, как напугала меня эта его чистота.

Никогда я раньше не видела, чтобы отец так суетился. Из рта у него вылетали одни бессвязные обрубки фраз.

– Ах да, ну да, садитесь сюда, отец, да, сюда, конечно, – говорил он, чуть ли не набрасываясь на не улыбочивого священника, будто бы желая опрокинуть его в кресло.

Но отец Гонт, садясь, удержал равновесие, как танцор. Я знала, что мать по-прежнему стоит в прихожей, в этом уголке тишины и уединения. Я стояла справа от отца, как часовой, как страж, готовый отразить нападение. В голове у меня сгущалась какая-то непонятная тьма, я не могла думать, не могла поддерживать внутреннюю беседу, которую мы часами ведем сами с собой, как будто бы теперь у меня в голове что-то свое писал ангел, совсем без моего ведома.

– Гм, – сказал отец. – Выпьем чаю, как вы думаете? Да, выпьем. Сисси, Сисси, поставь чайник, милая, пожалуйста!

– Я пью столько чаю, – сказал священник, – что удивлен, как кожа еще не стала коричневой.

Отец рассмеялся:

– Конечно, конечно, пьете из чувства долга. Но в моем доме совсем не обязательно. Не обязательно. Я, будучи всем вам обязанным, совершенно всем... Не то чтобы, не то чтобы...

Тут отец запнулся, покраснел, и я, по правде сказать, покраснела тоже, хотя и не могла понять отчего. Священник прокашлялся, улыбнулся:

- Конечно, я выпью чаю, конечно.

- Отлично, хорошо, это очень хорошо.

И мать уже возилась в кладовке, в самом конце коридора.

- Сегодня так холодно, - сказал священник, который внезапно принялся растирать руки, - что я весьма рад оказаться подле огня, да, весьма. На берегу мороз так и прихватывает. И кстати, - тут он вытащил серебряный портсигар, - могу ли я закурить?

- Да, пожалуйста! - ответил отец.

Тогда священник вытащил из кармана сутаны коробку спичек, а из портсигара - странную, чуть сплюсненную сигарету, удивительно изящно и аккуратно чиркнул спичкой и втянул пламя через хрупкую трубочку. Затем выдохнул, закашлялся.

- Эта... эта, - начал священник, - эта ваша должность на кладбище, как вы и сами понимаете, не... постоянная. Верно ведь?

Он еще раз элегантно затянулся и добавил:

- Мне неприятно это говорить, Джо. Мне это все не нравится, да и вам, думаю, тоже. Но я уверен, вы поймете... меня накрыло настоящей грозовой тучей, когда я оказался между епископом, который полагает, что всех мятежников надо отлучать от церкви - как, впрочем, и постановили на последнем синоде, - и мэром, который, как вы и сами знаете, совершенно не поддерживает Договор[13 - Имеется в виду Англо-ирландский договор 1921 года, по которому Ирландия становилась доминионом Англии, а Северная Ирландия оставалась в составе Англии, но могла по желанию из нее выйти.] в его нынешнем виде и, будучи самым влиятельным человеком в Слайго, имеет большое... влияние. Можете себе представить, Джо.

- Ох, - сказал отец.

- Да.

Священник затянулся в третий раз и, обнаружив, что на сигарете уже вырос порядочный столбик пепла, в привычной пантомиме курильщика заозирался по сторонам в поисках пепельницы, которой мы в доме не держали даже для гостей. Отец поразил меня, подставив священнику свою ладонь – конечно, загрубевшую, мозолистую от лопаты, – и отец Гонт поразил меня, потому что тотчас же стряхнул пепел в подставленную руку, которая дернулась от жара, быть может, самую малость. Отец, сидя с этим пеплом, оглядел комнату почти с глупым видом, будто бы веря в то, что кто-то без его ведома все-таки принес в дом пепельницу, но, не найдя ее, с ужасающей серьезностью ссыпал пепел в карман.

– Гм, – сказал отец. – Да, могу себе представить, как трудно примирить эти стороны.

Как же мягко он это произнес.

– Я, конечно, старался подыскать вам другую работу, особенно при муниципалитете, но поначалу такая возможность казалась мне... мм... невозможной. Я уже было сдался, но тут помощник мэра мистер Долан сообщил, что есть одно место, на которое они подыскивают человека – и довольно спешно, из-за страшного нашествия крыс, которые заполонили все склады у реки. Сами знаете, Финишглен – прекрасная, здоровая местность, сам доктор живет там, но вот незадача – соседствует она с доками.

Теперь я могла бы написать книжку о природе человеческого молчания – когда люди молчат и как, – но молчание, которым отец отозвался на эту речь, было страшным. Это было молчание – дыра, из которой со свистом тянуло ветром. Он покраснел еще сильнее, отчего его лицо стало совсем багровым, как у человека, которого хватил удар. В эту же минуту мать внесла чай – будто служанка промеж королей, хотя так казалось, наверное, потому, что она боялась поднять глаза на отца и не отрывала взгляда от маленького подноса, на котором было изображено какое-то французское маковое поле. Я часто разглядывала этот поднос, живший в кладовой на комод, воображала, будто вижу, как ветер шевелит цветы, и думала, каково это – жить в мире жары и непонятного языка.

– Поэтому, – продолжил священник, – от имени нашего мэра мистера Сэлмона я рад предложить вам... э-э-э... мм... место. Должность.

– Кого? – спросил отец.

– Кого? – спросил священник.

– Что? – спросила мать, вероятно помимо своей воли, но слово само выскочило из нее в комнату.

– Крысолова, – ответил священник.

* * *

Почему-то мне выпало проводить священника до дверей. Стоя на узком тротуаре и, вне всякого сомнения, чувствуя, как холод забирается к нему под сутану и ползет по голым ногам, маленький священник сказал:

– Передай, пожалуйста, отцу, Розанна, что все необходимые инструменты он сможет забрать в муниципалитете. Ловушки и все такое прочее. Все там лежит.

– Спасибо, – ответила я.

И он зашагал вниз по улице, но на мгновение остановился. Уж не знаю, почему я не уходила, а стояла и смотрела ему вслед. Опершись на соседский забор, он снял свой черный и блестящий ботинок и, балансируя на одной ноге, принялся ощупывать носок в поисках мешавшего ему камешка или соринки. Затем он вытащил носок из-под гамаша и снял его одним ловким молниеносным движением, обнажив длинную белую ступню, – ногти на пальцах были желтые, как старые зубы, и заворачивались так, будто их никогда не стригли. Тут он заметил, что я все смотрю на него, рассмеялся и, избавившись от мешавшего камешка, снова надел носок и ботинок и теперь твердо стоял на тротуаре.

– Какое облегчение, – заметил он любезным тоном. – Всего доброго! – И добавил: – Кстати, там, кажется, еще есть собака. Для этой работы. Крыс ловить.

Я вернулась в гостиную, где так и застыл на месте отец. Мотоцикл застыл на месте. Пианино застыло на месте. По отцу казалось, что он так и застынет тут навсегда. Было слышно, как мать скребется в кладовой, прямо как крыса. Или как собака в поисках крысы.

- Папочка, ты знаешь, что это за работа? – спросила я.

- Знаю ли?.. Да, наверное.

- Вот увидишь, она нетрудная.

- Конечно, ведь мне часто приходилось этим заниматься на кладбище. Крысы обожают рыхлую землю на могилах, а уж надгробия служат им отличным укрытием. Да, мне приходилось уже с ними бороться. Наверное, в библиотеке есть какой-нибудь учебник.

- Учебник для крысоловов? – спросила я.

- Да, Розанна, а разве нет?

- Конечно есть, папочка.

- Есть, есть.

Глава шестая

Да, как же хорошо я помню тот день, когда отца уволили с кладбища, отлучили живого человека от его мертвецов.

Еще это было маленькое убийство.

Мой отец любил мир и любил всех своих братьев по этому миру, никак не ограничивая эту свою любовь, полагая, как добрый пресвитерианин, что всякая душа может заслужить прощение, слыша в хриплом хохоте уличного мальчишки какое-то глубинное разъяснение жизни и вместе с тем – ее смысл, веруя в то, что раз уж Господь создал все на этом свете, то все это – хорошо, и еще, что беда дьявола в том, что он – автор ничего, архитектор пустоты. Поэтому хорошее мнение отца о самом себе зиждилось на его работе, на том, что ему, человеку такой необычной религии, было позволено хоронить всех католиков

Слайго, одного за другим, когда настаивал их черед.

– Какая честь, какая честь! – бывало, повторял он, когда мы с ним по вечерам запирали железные ворота, приготавливаясь идти домой, и его взгляд возвращался к темневшим сквозь прутья рядом могил, удалявшимся надгробиям, которые были вверены его заботе.

Наверное, он говорил это не мне, а себе или могилам и, наверное, даже не предполагал, что я могу его понять. Тогда, возможно, и не могла, но думаю, что понимаю теперь.

Правда заключалась в том, что отец любил свою родину, любил то, что для себя считал Ирландией. Родись он на Ямайке, быть может, он так же сильно любил бы Ямайку. Но он родился не там. Его предки имели небольшие синекуры, которые пресвитерианам удавалось раздобыть в ирландских городках, – инспектора зданий, все в таком роде, а его отец даже достиг высокого звания проповедника. Он родился в Коллуни, в крохотном доме священника, его детское сердце влюбилось в Коллуни, его взрослое сердце разнесло эту любовь на весь остров. Поскольку отец его был одним из тех мыслителей-радикалов, которые сочиняли церковные памфлеты или по меньшей мере проповеди об истории протестантизма в Ирландии – ни одного не сохранилось, но мне смутно помнится, что отец говорил об одном или двух таких памфлетах, – у моего отца сложились убеждения, которые ему самому не всегда были по душе. Иначе говоря, протестантская религия представлялась ему инструментом, легким как перышко, который старый раскол перековал в молоток, чтобы долбить им головы тех ирландцев, которые тяжким трудом зарабатывали себе на жизнь и были католиками по самой сути своей. Отец его любил пресвитерианскую религию, как и он сам, но ему было до смерти жаль – нет, скорее, он был до смерти зол из-за того, во что эта религия наряду с англиканством, баптизмом и так далее превратилась в Ирландии.

Откуда я все это знаю? Да потому, что каждую ночь моего детства, каждую ночь, перед тем как улечься спать, отец усаживался на мою узкую кровать, чуть не спихивая меня с нее своими широкими бедрами, так что я заваливалась на него, упираясь головой в его бакенбарды, и говорил, говорил, говорил, пока мать засыпала в соседней комнате. Когда она начинала легонько похрапывать, он уходил к ней в спальню, но те полчаса в темноте, когда он позволял ей уснуть в одиночестве, когда луна сначала устраивалась на дальней стене, а затем, как и положено всякой луне, мрачно и ярко уплывала в небо к недоступным (о чем я

отлично знала) звездам, отец раскрывал мне все самые потаенные мысли, подозрения и истории своего сердца, вероятно даже не беспокоясь о том, что я могу чего-то не понять, делаясь этим со мной, как музыкой, которая нравилась ему – а значит, и мне, – как творения Бальфе и Салливана, которых он считал двумя величайшими ирландцами на свете.

Поэтому работа на кладбище под покровительством отца Гонга в какой-то мере улучшала его жизнь, совершенствовала ее. В какой-то мере это была молитва его собственному отцу. Так он учился жить в Ирландии, в месте, которое ему выпало полюбить.

И, потеряв эту работу, он каким-то странным образом потерял и самого себя.

* * *

Теперь мы стали гораздо реже бывать вместе. Он не мог брать меня с собой охотиться на крыс, потому что работа эта была грязная, сложная и опасная.

Будучи по натуре человеком дотошным, отец вскоре отыскал себе в помощь небольшую книжечку, которая называлась «Полный отчет о крысоловстве», написанную кем-то под псевдонимом Крысий Крысиус. В этой брошюре подробно описывались приключения крысолова в Манчестере – городе, загроможденном фабриками, где крысам было раздолье. Книжка научила отца быть внимательным на работе, запоминать все вокруг и даже обращать внимание на состояние лапок хорьков, у которых из-за сырости мог развиваться грибок. Чести владеть хорьком отец так и не удостоился. Власти Слайго были куда менее честолобивы. Ему выдали джек-рассела по кличке Боб.

Так началась самая странная пора моего детства. Тогда же я мало-помалу становилась все более девушкой, все менее ребенком, все более женщиной, все менее девушкой. За те годы, пока мой отец работал крысоловом, во мне выросло собственное чувство взрослой серьезности. То, что радовало и волновало меня в детстве, теперь перестало меня волновать или радовать. Казалось, будто бы что-то исчезло из картин и звуков мира, будто бы величайший дар ребенка – это умение легко радоваться. Поэтому я чувствовала, что жду, жду чего-то незнакомого, что придет на смену дару юности. Конечно, я и тогда была юна, очень юна, но, как мне помнится, нет на свете никого старше пятнадцатилетней девочки.

* * *

Люди продолжают жить той жизнью, которую мы зовем обычной, потому что другой жизни не бывает. Бреясь по утрам, отец все так же напевал «Розы Пикардии»[14 - Популярная песня времен Первой мировой войны.] – строчки и слова путались, обрывались, пока он водил лезвием по своей шероховатой физиономии, и когда я, слышав его снизу, закрывала глаза, то продолжала видеть его мысленным взором – будто в какой-то загадочной кинокартине. И он держался героически: уходил на работу с ловушками и собакой, приучил себя считать это своим «привычным делом», возвращался – хоть и не всегда в то же время, что и раньше, – стараясь не забыть сунуть под мышку «Слайго чемпион» и втиснуть эту новую жизнь в область нормального.

Но в те дни он и в газете мог наткнуться на то, что могло его задеть, по крайней мере однажды я услышала, как отец ахнул, и, подняв голову, увидела, что он поглощен чтением. Владельцем «Чемпиона» был мистер Родди, который, как говорили, был уж очень за новое правительство. Поэтому сводки с гражданской войны излагались в сухих, простых выражениях, которые будто бы старались придать всему этому нормальность, основательность.

– Боже правый, – сказал отец, – они расстреляли мальчишек, что были тогда на кладбище.

– Каких мальчишек? – спросила я.

– Тех ребят, которые принесли своего убитого друга.

– Он был братом кому-то из них, – сказала я.

– Верно, Розанна, один из них был его братом. Тут они имена приводят. Лавелл его звали, правда ведь странное имя? Вильям. А брата – Джон. Но он, как тут пишут, скрылся. Сбежал.

– Ага, – немного натянуто отозвалась я, вместе с тем неожиданно обрадовавшись.

Это как про Джесси Джеймса услышать было. Уж вряд ли захочешь повстречать преступника в жизни, но все равно радуешься, когда слышишь, что ему удалось ускользнуть. Впрочем, Джона Лавелла мы-то как раз повстречали.

– Он с Инишке родом. С одного из островов. Маллет. Место уж очень глухое. Задворки Майо. Наверное, там, среди своих, он будет в безопасности.

– Надеюсь.

– Уж уверен, трудно им было расстреливать таких парней.

Отец говорил безо всякой иронии. С убежденностью. Ведь это действительно было трудно. Выстроить этих мальчиков, чтобы стояли бок о бок, или выводить по одному – кто знает, как это все происходит, – и стрелять в них, как говорится, до смерти. Кто знает, как оно там все было, в горах? В темноте. А теперь они и сами мертвы, вместе с Вилли Лавеллом, парнем с Инишке.

Больше отец не произнес ни слова. Друг на друга мы тоже не глядели, уставившись вместо этого на одно и то же местечко в очаге, где из последних сил догорала кучка углей.

* * *

Но молчание матери было самым глубоким. Она как будто превратилась в подводное существо, или мы с ней обе стали такими, потому что рядом со мной она вечно молчала и двигалась медленно и тяжело, будто плыла под водой.

Отец предпринимал отважные попытки расшевелить ее и, как только мог, старался ей угодить. На новой работе зарплата у него была маленькая, но он надеялся, что и маленькая зарплата сгодится, особенно в то трудное темное время, после гражданской войны, когда страна пыталась снова встать на ноги. Но думается мне, в те дни весь мир нарывал катастрофами, а громадные жернова истории вертела не рука человека, а некая неведомая сила. Отец отдавал ей все, что зарабатывал, в надежде, что ей уж как-нибудь удастся поделить и растянуть эти жалкие несколько фунтов, чтобы мы могли хоть как-то на них продержаться. Но что-то, столь же неведомое, как та сила, что управляла гигантскими волнами истории, но не столь огромное, поскольку речь шла лишь о

нас троих, постоянно одерживало над ней верх, и зачастую в доме не было почти никакой еды. Вечером мать могла начать громыхать чем-то в кладовой, будто бы собираясь готовить ужин, но затем выходила в нашу маленькую гостиную, садилась, а мы с отцом, который уже как следует отмылся после работы и готовился к предстоящей ночи – крыс лучше всего ловить в темноте, – глядели на нее, постепенно понимая, что ужина не дождемся. Тогда отец медленно качал головой и, быть может, в мыслях потуже затягивал пояс, но никак не осмеливался спросить у матери, что случилось. Пока ее одолевало неведомое горе, мы начали голодать!

Но ничто не могло пробиться сквозь ее молчание. Приближалось Рождество, и мы с отцом замыслили купить ей что-нибудь, что могло бы ее порадовать. Он заметил один шарф в маленьком галантерейном магазинчике рядом с кафе «Каир» и каждую неделю утаивал по полпенни или около того, чтобы набрать необходимую сумму, будто мыш, которая запасает по зернышку. Прошу вас, не забывайте, что мать моя была очень красива, хотя, наверное, тогда уже не так красива, как раньше, потому что ее молчание эхом отозвалось на ее лице, которое казалось будто затянутым тонкой серой тканью. Она походила на картину, красота которой скрывалась за потускневшим лаком. Ее прекрасные зеленые глаза угасали, и вместе с этим исчезала какая-то важная, существенная часть ее самой. Но в остальном же, думаю, она по-прежнему была бы хороша для любого художника, если б только в Слайго водились художники, разве что считать ими тех парней, которые малевали лица Джексонов, Миддлтонов и Поллексфенов – лучших людей города.

Отцу не нужно было работать в сочельник, и как же радостно было сходить на службу, которую в своей старой опрятной церквушке отслужил мистер Эллис. Мать молча пришла с нами, в своем потрепанном пальто, маленькая, будто монашка. Я так хорошо помню эту сцену: вся церквушка залита светом свечей, все протестанты прихода, бедные, небедные и достаточно богатые, собрались здесь – мужчины в темном габардине, женщины, кто мог себе позволить, со щепотками меха вокруг шеи, но в основном всюду были пасмурные зеленые цвета тех дней. Сияние свечей проникало всюду: в морщины на лице сидевшего подле меня отца, в камни, из которых была сложена церковь, в голос священника, говорившего на волнующем и таинственном языке Библии, в мою грудную клетку, в мое юное сердце, пронзая меня так сильно, что мне хотелось кричать – но что кричать, я не знала. Мне хотелось кричать, что судьба дурно обошлась с отцом, что мать все молчит, но еще мне хотелось выкрикнуть радость, хвалу чему-то – исчезающей материнной красоте, которая пока еще не исчезла до конца. Я вдруг почувствовала, что родители вверены моей заботе,

что это я могу предпринять что-то, чтобы спасти их.

И отчего-то эта мысль наполнила меня внезапной радостью, столь редким в те дни чувством, что, когда знакомые голоса начали петь какой-то давно позабытый гимн, я вся зарделась от непонятного счастья, а потом, сидя в этой мерцающей темноте, расплакалась – жаркими, долгими слезами предательского облегчения.

И вот я расплакалась там, да только кому от этого стало хорошо. Всю меня окутало запахом сырой одежды и кашлем прихожан. Чего бы я не дала сейчас, чтобы вернуть их в ту церковь, вернуть их в то Рождество, вернуть назад все, что вскоре забрало себе время, как и должно времени, вернуть шиллинги обратно в карманы, вернуть тела в их митенки и кальсоны – все, все возратить назад, так чтобы мы укрепились там, сидя на скамьях красного дерева, упираясь в них коленями, если уж не целую вечность, так хотя бы снова те минуты, тот самый клочок времени, когда морщины на лице отца заполняются льющимся светом и он медленно, так медленно поворачивается к нам с матерью и улыбается, улыбается нам со всей своей легкой, простой добротой.

Наутро отец преподнес мне прелестную вещицу – позже я узнала, что такие называют бижутерией. У каждой девчонки в Слайго были такие «сорочки» побрякушки – на выход. Я, как и все они, мечтала отыскать то самое сказочное сорочье гнездо, где будет полным-полно брошей, сережек, браслетов, полным-полно прекрасной добычи. Взяв подарок отца, я расстегнула его посеребренную застежку, прицепила его на кардиган, с гордостью похвасталась им перед пианино и мотоциклом.

После этого отец вручил матери что-то «то самое», завернутое в добротную магазинную бумагу, – раньше она непременно сложила бы ее и спрятала в ящик. Она тихонько развернула сверток, поглядела на пятнистый шарф, который лежал внутри, подняла голову и спросила:

– Зачем, Джо?

Отец совсем не понимал, о чем она спрашивает. Быть может, ей узор не нравится? Или что он сделал что-то не то, не сумел купить правильный шарф, потому что откуда же крысолову знать толк в дамской моде?

– Зачем? Не знаю, Сисси. Не знаю, – храбро ответил он и внезапно прибавил, будто его вдруг осенило: – Это шарф.

– Что ты сказал, Джо? – переспросила мать, будто бы на нее напала какая-то странная глухота.

– На голову повяжи или на шею, куда хочешь, – сказал он.

Я видела, как в нем начинает дрожать отчаяние, которое расползается из живота, когда даришь не тот подарок. Ему пришлось объяснять очевидное, задача не из приятных.

– О, – ответила она, теперь уставившись себе на колени. – О...

– Надеюсь, тебе нравится, – произнес он – как голову на плаху сложил.

– О, – сказала она. – О...

Но что это было за «О!» и что это «О» означало, никто из нас так и не понял.

Глава седьмая

Записи доктора Грена

С большим огорчением узнал – совершенно случайно, – что Бет решила не посещать специалиста, к которому ее направили в прошлом году. (Или все-таки в этом году? Уже год прошел или я брежу?) Вчера вечером за жестянкой «комплана» я наткнулся на ее дневник, о котором она, видимо, позабыла. Конечно же, было совершенно неправильно, неэтично, неправильно, неправильно заглядывать туда, но я заглянул – с мелочной обидой нелюбимого мужа. Посмотреть, что она там написала.

Нет, нет, я только хотел увидеть ее почерк, увидеть что-то столь интимное и личное. Быть может, мне и читать-то ничего было не надо. Просто глянуть на

темные чернила ее шариковой ручки. А там эта запись, сделанная пару недель назад, – откровенная и прямая, хотя, конечно, она предназначалась только для ее глаз: «Позвонила в клинику, отменила запись».

Почему?

Я смутно помнил, что к врачу ее отправили после того обморока, и на самом деле, когда она сообщила об этом направлении, я почувствовал такое облегчение, что и вовсе выкинул эту проблему из головы. Теперь же я не знал, как себя вести. Я был встревожен ее поступком, но прекрасно понимал, что узнал об этом только потому, что вторгся в ее личное пространство, что она, несомненно, расценит как дальнейшее насилие над ней. И будет права.

Что же делать?

Поэтому всю ночь я старался как-то отвлечься. Отвлечься – вот как я обычно решаю проблемы. Наверное. Но все-таки не без причины. Уже где-то на рассвете я вдруг вскипел от непонятной ярости, от очень-очень сильной злости на нее и хотел было кинуться наверх, чтобы выяснить с ней отношения. Она хоть думает вообще, что делает?! Что за чертовы глупости!

Слава богу, что я этого не сделал. Это бы ничего не решило. Но меня беспокоят и самые настоящие тревоги. Ее ноги могут опухать из-за тромбоза, а если тромб вдруг доберется до легких или до сердца, то это – мгновенная смерть. Она что, этого и добивается? И тут я снова обнаружил, что не владею языком, не знаю того особого наречия, на котором я мог бы поговорить с ней об этом – обо всем. Мы все пренебрегали простыми словами о жизни, а теперь вот сложные нам и вовсе не по зубам.

А я хотел провести вечер, планируя не слишком спланированный разговор с Розанной так, чтобы добиться от нее хоть какого-то результата. Мне вдруг пришло в голову, что если я не могу спросить о здоровье собственную жену, то с Розанной у меня шансов вообще никаких. Но быть может, с посторонним человеком поговорить проще, можно быть просто «специалистом», а не дураком рода человеческого, пытающимся как-то устроить свою жизнь. С другой стороны, я уверен, что всех остальных пациентов лечу вполне достойно. Почти все они для меня – открытые книги, их страдания мне ясны и понятны. Хотя при этом я все равно не могу избавиться от ощущения, будто бы бесконечно

вторгаюсь в их жизни. И только Розанна сбивает меня с толку.

Я хотел еще заглянуть в «Патологию секретности» Бартуса – превосходная книга, еще бы найти время, чтобы ее перечитать. Наверное, можно было сходить за ней в кабинет, но меня всего трясло, будто вот-вот хватит апоплексия, если в современном мире еще такое случается. В результате я и Бартуса не прочитал, и не придумал, что делать с легкомыслием Бет. Я страшно измотан.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Где-то пару недель спустя отец взял меня с собой на одну из своих охот.

В начале весны крысы начинают плодиться с мстительной быстротой, поэтому их нужно ловить в конце зимы, пока они не начали размножаться и погода уже не слишком жестока к крысолову. Сейчас мне думается, что, наверное, странно было брать молоденькую девочку на охоту за грызунами, но я уж очень всем этим интересовалась, особенно после того, как отец прочел мне то пособие, в котором эта работа описывалась как почти магическое занятие, требующее высокой квалификации – даже призвания!

До того он уже пару ночей проработал в протестантском приюте для сирот, что само по себе уже было странным местом – с крысами или без них. Приюту было лет двести, и отец слышал про него множество старинных историй: судя по его рассказам, быть сиротой и тогда считалось участью незавидной. Хотя, быть может, в те времена место это было вполне достойное. Отец намеревался начать с крыши, как и положено, чтобы, спускаясь вниз, этаж за этажом, избавляться от крыс. Чердаки он уже вычистил, верхний этаж тоже – оставались еще три этажа, где, собственно, и жили девочки-сироты, числом около двух сотен, все в таких аккуратных, похожих на парусиновые платящих-передничках, в которых они и спали.

– Теперь-то, Розанна, они лежат в кровати по одной, – сказал мне отец. – Но во времена твоего дедушки или, может, прадедушки, ну да не важно, все тут было по-другому. Твой дедушка или, быть может, дедушка твоего дедушки рассказывал про это место ужасную историю. Он был жилищным инспектором, и тогда городские власти Дублина отрядили его сюда, так как прошла целая волна возмущений по поводу того, что тут творилось, целая волна!

И вот он приезжает. – Мы стояли в древнем дворике возле здания, вокруг уже густые сумерки, и при нас две клетки, набитые крысами, и очень довольный пес Боб, он этих крыс и гонял по стенам этого самого приюта, которые кое-где толщиной футов в семь-восемь и все изрыты ходами. – Приходит ну пускай вон в ту большую комнату, – отец указал на мрачные камни второго этажа, – а там, как ему показалось, целый акр одних кроватей, и на каждой кровати – дети, штук, наверное, двадцать их, и все новорожденные или младенцы, все лежат рядышком, а он заходит туда вместе со старой нянькой – уж такая противная баба, – видит это море деток и замечает, что кое-где в окнах и стеклах нет, не то что сейчас, а в огромном очаге огонь еле теплится – таким вообще ничего не согреешь, да и в потолке еще дыры, через которые холодная промозглая зима так и свищет. И он тогда как закричит: «Боже правый, женщина!» – ну или уж как они там говорили в те времена, – «Боже правый, женщина, да ведь на них и одежды никакой нет!» – и верно, Розанна, а там и клочок лохмотьев не у каждого найдется. А старуха-то и говорит, да так, будто это само собой разумеется: «Но, мистер, разве ж их тут не помирать положили?» И тут он понимает, что это все так и было устроено, чтобы избавиться от больных или нежеланных детей. Большой тогда скандал вышел, уж я думаю.

Какое-то время он ковырялся с ловушками, я стояла рядом, а ночной ветер изредка постанывал, когда слишком близко подкрадывался к домам. Отец окунал каждую крысу в парафин, перед тем как бросить ее в костер, который он разжег прямо посреди двора, используя для этого старые вонючие доски и прочие деревяшки, которые отыскал в одном из сараев.

Этот способ избавления от крыс он придумал сам, вычитав что-то похожее в своем пособии, и этим изобретением он весьма гордился. Теперь мне кажется, что, наверное, все-таки было не очень разумно бросать в огонь еще живых крыс, но, думаю, отец даже не считал это жестоким или надеялся, что другим крысам будет урок, если вдруг они наблюдают за всем из темноты. Зато это в какой-то степени помогает понять, как мыслил мой отец.

Ну и вот, он открывал ловушки, хватал крыс одну за одной и, как теперь мне вдруг вспомнилось, пристукивал каждую по голове, перед тем как отправить в огонь, – господи, так и встала вдруг перед глазами эта сцена, – и при этом он болтал со мной и, видимо, потому не мог полностью сосредоточиться на работе, что я была с ним, но как раз тогда одна крыса сбежала, улучив момент между освобождением из ловушки и ударом по голове, просто вывернулась у него из пальцев, обогнула изумленного Боба, который и шевельнуться-то не успел, и

помчалась к приюту в черном сиянии тьмы, где, однако, угадывались ее характерные скачки...

Отец тихонько ругнулся, но, наверное, и не думал о ней более, решив, что назавтра доберется до этой крысы. И принялся за оставшихся, мысленно отмечая, наверное, пискливый визг, который издавала каждая крыса, когда он расправлялся с ней, окуная в парафин и кидая в костер; этот звук, я думаю, снился ему каждую ночь.

Где-то через час он собрал все свои штуки, перекинул ловушки через плечо, нацепил Бобу его привычный поводок, и мы вышли из темного приюта на улицу, которой он подставлял весьма филигранный лепной фасад – результат, вне всякого сомнения, многочисленных филантропических пожертвований в минувшем веке этому зданию. Мы как раз переходили улицу, когда услышали какой-то гул, обернулись и задрали головы вверх.

Здание издавало странный, глубокий загадочный шум, который шел откуда-то с верхнего этажа, где спали девочки. Хотя вряд ли они теперь спали, потому что сквозь черепицы пробивался густой черный дым, и серый дым, и белый дым, и все это было зловеще расцвечено лишь луной и скудным уличным освещением Слайго.

Тут мы услышали, как где-то зазвенело оконное стекло, и внезапно из окна высунулась тонкая длинная рука желтого пламени, которая, осветив поднятое лицо отца и мое, конечно, тоже, так же неожиданно спряталась обратно с ужасающим, воющим ревом, хуже любого ветра.

Я так страшно перепугалась, что мне показалось, будто пламя заговорило. «Смерть, смерть!» – вот что сказала пламя.

– Иисус, Мария, Иосиф, – выговорил отец, как человек, которого парализовало на месте каким-то ужасным переворотом в мозгу и крови, и только он сказал это, как двери приюта распахнулись, отчего по всему дому, верно, прокатилась мощная волна ветра, и несколько оглушенных от ужаса девочек, спотыкаясь, выбежали наружу – платьица у них были все в грязи и пепле, а лица дикие, как у маленьких бесенят.

Такого ужаса я никогда раньше не видела. Двое или трое воспитателей, женщина и двое мужчин в темных одеждах тоже выскочили на улицу и, отбежав на мостовую, пытались разглядеть хоть что-то.

Разглядеть было можно (а теперь еще можно было расслышать, как вдали звенят колокола пожарных машин), что на всем этаже девочек светло как днем, за окнами бушует пена пламени, и хотя мы стояли на углу, но все равно видели, как лица и руки девочек бились о стекла, будто бы мотыльки или уснувшие бабочки, которые вдруг зимой в нагретой комнате смертельно ошибаются, полагая, что настала весна. И тут окна будто взорвались, выбросив наружу убийственные осколки и брызги стекла, отчего все тотчас же кинулись на другую сторону улицы. Люди стали выбегать из домов, женщины закрывали лица руками, странно подвывая, а мужчины, выскочив из кроватей в одних кальсонах, все кричали и звали кого-то, и даже если они никогда раньше не испытывали сострадания к этим сироткам, то жалели их теперь и кричали так, будто это были их собственные дети.

Мы видели, что пламя позади них разгорается еще яростнее, распускаясь огромным желто-красным цветком, с таким грохотом, какой можно услышать, только попав в ад, в такой ад, каким он представляется в ночных кошмарах. И тут девочки, все в этой комнате, в основном моего возраста, начали вылезать из окон на широкий карниз, и у каждой пинафор уж занялся, и они кричат, кричат, кричат.

А когда им больше ничего не оставалось, никакой другой надежды на спасение, они стали прыгать с этого карниза, поодиночке и вместе, в горячей одежде, которую по-прежнему пожирало пламя, так что оно летело вслед за ними, как самые настоящие крылья, и все эти полыхающие девочки падали с высоты огромного старинного дома прямо на камни мостовой. Целая волна их, целая волна маленьких девочек льется из окон изобильным потоком, горит, кричит и умирает у нас на глазах.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Томас Браун (1605–1682) – английский мыслитель и ученый. «Религия врача» (1635) – один из самых его известных трактатов, в котором Браун рассуждает о возможности сближения религии и науки.

2

Период с 1845 по 1852 год, когда большой неурожаем картофеля наложился на сложную экономико-политическую ситуацию в стране и вызвал массовый голод.

3

«Цыганка» (1843) – опера композитора Майкла Уильяма Бальфе.

4

Майкл Уильям Бальфе (1808–1870) – ирландский композитор, сочинитель популярных опер и оперетт.

5

Шекспир У. Сонет 116 (пер. С. Маршака).

6

Джесси Джеймс (1847–1882) – известный американский гангстер.

7

Фристейтеры – сторонники договора, подписанного между Англией и Ирландией в 1922 году. Согласно этому договору, Ирландия получала статус «свободного государства» на правах английского доминиона.

8

«Черно-пегие» (Black and Tans) – карательные отряды, посланные Англией в Ирландию для подавления революционного восстания в 1919 году.

9

Mil – по-ирландски означает «мед».

10

Возможно, имеется в виду ирландская сказка о кошке, которая была грозой всех крыс, но однажды сама попала в капкан. Тогда хозяин приделал ей деревянную ногу, и она стала ловить мышей еще лучше.

11

Примирение (фр.).

12

Название напитков, сделанных на основе сухого молока с различными витаминными и вкусовыми добавками.

13

Имеется в виду Англо-ирландский договор 1921 года, по которому Ирландия становилась доминионом Англии, а Северная Ирландия оставалась в составе Англии, но могла по желанию из нее выйти.

14

Популярная песня времен Первой мировой войны.

Купити: https://telnovel.me/barri_sebast-yan/skrizhali-sud-by

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)